



Интервью с Алексеем Михайловичем РУТКЕВИЧЕМ

«ИСТОРИКА РАДУЕТ НЕ ЕДИНООБРАЗИЕ, А МНОГООБРАЗИЕ ЛЮДЕЙ И ИДЕЙ»

Руткевич А. М.— окончил философский факультет Московского государственного университета (1974 г.); доктор философских наук (1993 г.); заведующий кафедрой истории философии и декан гуманитарного факультета НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева.

Основные области научного интереса: История современной западной философии; философская антропология, герменевтика, психоанализ.

Интервью состоялось: февраль - март 2015 г.

Середина апреля 2015 года, лишь недавно, 7 февраля, я «отметил» завершение сотого интервью, а эта беседа — с профессором «Вышки» Алексеем Михайловичем Руткевичем — уже 111-я. И хотя мои интервью с социологами продолжаются, все же главными стали рассуждения о будущем; о том, когда процесс интервьюирования будет закончен и настанет время анализа собранной информации. Однако как невозможно вмиг прекратить разговоры с коллегами, так невозможно откладывать начало процесса обобщения собранного историко-биографического материала. И здесь стихийно обнаружилось, что мои вводки к интервью, которые я пишу уже десять лет, дают мне возможность одновременно рассматривать и общие вопросы исследования, и некоторые аспекты каждой завершенной беседы.

Я помню первые публикации Алексея Руткевича, многие годы дружу с рядом московских социологов, входивших в науку одновременно с ним, но лично мы не знакомы. Сам этот факт не мог быть причиной того, что я не обращался к нему с просьбой рассказать о себе, о своей работе; ведь среди тех, с кем к настоящему времени проведены интервью, не менее трети исследователей, которых я начинал узнавать лишь из их ответов на мои вопросы.

Люблю байку, рассказанную когда-то Юрием Никулиным: «Из города А в город Б по однокорейке вышел поезд, навстречу ему из города Б в город А вышла дрезина. Но они не встретились. Почему? Не судьба...». По-видимому только теперь мое обращение к А. Руткевичу стало своевременным, подготовленным изнутри.

Одним из ключевых моментов нашего интервью является фраза Алексея Руткевича: «... социологом я себя не считаю». И здесь для меня важным является и содержание этого суждения, и мое право не согласиться с ним. Формально говоря, может возникнуть вопрос: «Кто прав?», но — как я понимаю — оправдан ответ: «Оба». Границы наук подвижны и понимание содержания наук может быть различным.

По поводу моего замечания, о том, что я не абсолютизирую наличие и характер границ между науками, тем более, что существует множество их классификаций, мой собеседник заметил: «Я тоже не склонен проводить резкие дисциплинарные границы: мир не делится по факультетам. Тем не менее, существует не только разделение труда, но ещё и более или менее чёткое понимание, чем именно мы занимаемся, когда этот мир исследуем, какие методы применяем». Я же в качестве аргумента в пользу социологичности исследований Руткевича приведу путь, движение по которому привело к нашей с ним встрече.

Летом 2014 года я активизировал изучение биографий исследователей, которых отношу к пятому поколению отечественных социологов, и начал целенаправленный анализ социологов шестой профессионально-возрастной группы. К первому из названных сообществ относятся те, чьи годы рождения заключены в интервале 1959–1970 гг., ко второму — в промежутке 1971–1982 гг. Так среди моих собеседников оказались московские социологи Александр Никулин (5-е поколение), Роман Абрамов, Виктор Вахштайн, Денис Подвойский и Дмитрий Рогозин (все — 6-е поколение). Из этих пятерых исследователей я до начала беседы был знаком с Никулиным и Рогозиным и по переписке — с Абрамовым. Ответы названных исследователей на первые вопросы интервью показали мне, что здесь я имею дело со специалистами, во многом иначе смотрящими на науку, на себя и на свой путь в социологию, чем другие представители их профессионально-возрастных когорт. У меня нет возможности (да, здесь это и не требуется) как-то развивать и иллюстрировать примерами данное утверждение, но в значительной степени я объясняю свое наблюдение характером образования этих ученых. Оно разное, но их дороги в науку включили в себя общение с профессорами «Шанинки» и «Вышки», на рубеже веков следовавших схожим моделям подготовки социологов. В частности, я отметил бы два элемента предлагавшейся им программы обучения: историзм в изложении теории социологии и историко-социологический (процессный) взгляд на социум.

В интервью с кем-то из названных собеседников я впервые узнал об исследованиях Андрея Полетаева и Ирины Савельевой в области истории и социологии знания. Вскоре проведенное обстоятельное интервью с И. Савельевой и, в частности, ее слова о том, что в последние десять лет жизни А. В. Полетаев, экономист и историк, «в значительной мере ощущал себя социологом», стали основой моих поисков работ российских авторов в области истории социологии и методологии этого типа исследований. Так я «открыл для себя» сферу научных изысканий А. Руткевича. Их содержание, а также тот факт, что я пришел к его

работам «из социологии» и дали мне возможность «считать» его социологом. Более того, в моем понимании среди ряда трендов, присутствующих в картине динамики современной российской социологии, просматриваются такие гармонии, как «интеллектуализм» и «историзм», которые весьма зримы в книгах и статьях Алексея Руткевича. В силу этого значение его работы будет возрастать.

В целом, интервью с Алексеем Руткевичем еще раз показало важность темы, которую я разрабатываю в последние годы. Это — определение реальных, эмпирически обнаруживаемых границ российской социологии

Руткевич А. М.: «Историка радует не единообразие, а многообразие людей и идей»

Алексей, Ваш дед был историком, а отец философом и социологом, так что Вы обществовед в третьем поколении. Кроме того, насколько я понимаю, в Вашей семье существовал культ искусства и литературы. Мало кому повезло с детства находиться в подобной среде. Не могли бы Вы рассказать о том, какое влияние оказала семья на Ваше воспитание в раннем возрасте и в первые школьные годы?

О раннем возрасте, к коим можно отнести и первые школьные годы, говорить довольно сложно, поскольку многое нами забыто, причём совсем не по тем причинам, о которых говорят психоаналитики. Наша память несовершенна, многое ушло из неё навсегда, да и вряд ли в ранние годы мы отслеживаем, что получено нами от родителей, а что из других источников.

Я бы не сказал, что в семье был культ искусства и литературы. Скорее, культ науки. Отец по исходному образованию физик-теоретик. Его забрали из аспирантуры в армию в 1939 году. Он воевал с 22 июня 1941 года по лето 1944-го, а снял форму и вернулся в университет в 1946-м. С нами он занимался прежде всего математикой и физикой — два моих брата стали естествоиспытателями.

Разумеется, родители были хорошо образованными людьми. Музыка в доме звучала постоянно («Реквием» Моцарта, последние симфонии Чайковского, арии из опер великих итальянцев), на ночном столике обычно лежал томик того или другого поэта. Для отца поэтом «на все времена» был Александр Блок. Родители выписывали «толстые» журналы — «Новый мир», «Иностранную литературу». Драматический театр, консерватория были для них само собой разумеющейся частью повседневности. Позже они стали таковыми и для меня.

Из раннего детства, пятидесятых — начала шестидесятых годов, мне помнятся обсуждения писателей-фронтовиков: Константина Симонова и так называемой лейтенантской прозы. И отец, и мать, равно как и многие их друзья, были на фронте. Об их литературных предпочтениях свидетельствовали «зачитанные» тома собраний сочинений. Скажем, из сочинений Эренбурга, наиболее потрёпанными от чтения был первый том («Хулио Хуренито») и мемуары («Люди, годы, жизнь»), тогда как остальные тома вряд ли даже открывались. Впрочем, до всех этих книг я добрался не в детстве.

Если же говорить о влиянии, оказанном на меня в те годы, то ничуть не меньшим, чем со стороны родителей, было влияние бабушки по материнской линии, её сестёр и дяди по отцовской линии, т.е. представителей другого, ещё не советского поколения. Но это воздействие станет ощутимым несколько позже — в старших классах школы.

Пожалуй, влияние «несоветского» поколения отчётливее других сформулировала Татьяна Ивановна Заславская, но она принадлежала поколению постарше. В чём это влияние выразилось в Вашем случае и как проявилось в старших классах школы?

Как и Ваш отец, Татьяна Ивановна родилась в Киеве, и я сейчас подумал, не мог ли он быть учеником её деда — Георгия Георгиевича (де) Метца, профессора

физики Киевского университета?

Относительно учёбы у Г. Г. Метца ничего сказать не могу. Быть может, они это обсуждали. С Татьяной Ивановной Заславской отец был хорошо знаком, поначалу их отношения были вполне доброжелательные, затем наступил период взаимного противостояния.

Влияние на меня людей старшего поколения с годами росло. Поколение моих родителей было именно советским, да ещё и фронтовым. Не обязательно их всех записывать в сталинисты, в частности, мои родители и их друзья к Сталину и его окружению относились негативно. Я сам слышал в детстве, как они отзывались о Хрущёве ещё в то время, когда тот возглавлял КПСС. Отец учился в Киеве как раз тогда, когда Хрущёв «чистил» Украину, и говорил, что у этого антисталиниста руки по локоть в крови. В советских исправительно-трудовых лагерях погибли родственники и отца, и матери. Тем не менее, родители были именно советскими людьми, оба вступили в партию во время войны. Это сказывалось не только на преданности существующей власти, но также на круге чтения, вкусах, отношении к прошлому.

О многом в семье умалчивалось. То, что один брат моей бабушки, полковник царской армии, погиб под началом Л. Г. Корнилова; другой, поручик, воевал с «красными» у Е. К. Миллера, в 1925 году вернулся и был расстрелян на Соловках; третий сгинул в лагере в 1938 году. О том, что сестра бабушки служила медсестрой в бронепоезде у А. В. Колчака, я узнал только лет в шестнадцать. Дед моего отца был крупным царским чиновником, имел чин действительного статского советника и умер в эмиграции. Гражданская война прошла через нашу семью, а сталинские «чистки» были продолжением этой войны. Представители старшего поколения, с которыми мне довелось общаться, конечно, тоже о многом умалчивали, но одни только их рассказы о дореволюционном прошлом — далёкие от всякой политики — выявляли картину, которая никак не совпадала с идеологической версией советской пропаганды, учебников, фильмов и т. п. Противниками советской власти они не были. Как впоследствии рассказывал мне дядя отца, арестованный в Киеве в 1921 году как член подпольной кадетской организации, они вместе с моим дедом-историком приняли советскую систему в 1928 году, проговорив перед тем целую ночь напролёт: эта власть впервые в российской истории стала учить и лечить народ. Как русскому интеллигенту противостоять такой власти, которая тратит огромные усилия на народное образование, борется с неграмотностью и двигает вверх по социальной лестнице десятки миллионов? Русские кадеты и эсеры, к которым принадлежали многие мои родственники, были такими же наследниками народников, как и большевики.

Если же вернуться к вашему вопросу о влиянии в тот период, то влияние это, конечно, было непрямым. Вероятно, мой интерес к истории обусловлен историей нашей семьи. Круг чтения расширялся и за счёт того, что с разных сторон давались разные советы. Скажем, по совету отца я начал читать Анатоля Франса, Хемингуэя (лучшим романом которого для фронтовика было «Прощай, оружие»), «Конармию» Бабеля и рассказы Шукшина, а по советам старшего поколения читал Достоевского и Лескова. Труды русских мыслителей в ту пору, конечно, были для меня недоступны, да и вряд ли я что-нибудь в то время сумел бы в них понять.

В интернете я нашёл, что Ваш прадед Паулин Михайлович Руткевич (1865 года рождения) был сыном священника, учился в Киевском университете, после 1913 года служил чиновником по особым поручениям при министре иностранных дел, получил чин действительного статского советника, умер в эмиграции. Ваш дед историк Николай Паулинович Руткевич умер ещё до вашего рождения. Что ещё Вы о них знаете?

О прадеде, Паулине (в малороссийском просторечии — Павлине) Михайловиче, я знаю мало. Выходец из православных священников, стал царским чиновником. Карьеру сделал в Министерстве внутренних дел и как «силови́к» был на короткое время арестован Временным правительством в начале марта 1917 года, летом 1917 года бежал в родной Киев, занял какой-то высокий пост в правительстве гетмана Скоропадского (кажется, заместителя министра), а затем бежал за границу и умер в Кракове в начале 1930-х гг.

Иначе говоря, как и у многих русских интеллигентов-разночинцев, наш род восходит к нескольким поколениям православных священников. По семейному преданию, в священники в конце XVII века ушёл сын запорожского казака. Косвенно эту версию подтверждает тот факт, что фамилию Руткевич, довольно редкую среди малороссов (более распространённую среди белорусов), носили несколько священников в станицах кубанских казаков, расстрелянные во время гражданской войны большевиками (случайно обнаружил их имена в списках «Мемориала»). Скорее всего, это дальние родственники, переселившиеся вместе с прочими запорожцами на Кубань во времена Екатерины II.

Так как прадед дослужился до генеральского чина («ваше превосходительство»), дававшего потомственное дворянство, дед в классовых анкетах вынужден был в графе о происхождении писать «дворянин», что создавало ему немалые проблемы. Он вовремя, в конце 1920-х гг., покинул родной Киев, поскольку иначе его репрессировали бы уже в то время, в период «чисток» от «бывших», проходивших под лозунгом борьбы с «буржуазным национализмом». Работал в Краснодаре, в середине 1930-х перебрался в Свердловск. Много сделал там для исторической науки. Об этом я встречал упоминания местных историков (они есть в интернете). Славился как превосходный лектор. Начинал свою научную деятельность как балканист (изучал Балканы XVI—XVIII веков), затем писал работы, которые сегодня отнесли бы к социальной истории (что-то о крестьянах Поволжья и Предуралья). Отец вернулся к нему с фронта в Свердловск, там и остался. А дед вскоре умер от дистрофии — сказались лишения во время войны.

То, что прадед был «классовым врагом» и «белоэмигрантом», могло сыграть дурную роль и в карьере моего отца. В 1950 году коллега (некто Г. Курсанов) написал на отца донос: «скрывает своё происхождение», «дед — белоэмигрант». Отца спасло то, что в анкетах сталинской эпохи нужно было подробно писать о предках, так что обнаружилось, что отец ничего не скрывает, и дело закрыли.

Словом, со стороны отца родословная типичная для российских интеллигентов-разночинцев: духовная семинария, чиновничество, университет.

Со стороны матери ситуация отчасти сходная — её мать (моя бабушка) также из семьи, достигшей высокого положения за счёт службы (так сказать, *noblesse de robe*). Прадед по материнской линии также был действительным статским советником. В годы Гражданской войны, несмотря на то, что большинство его детей были за «белых», видя, как «белые» на севере России отдают англичанам в кон-

цессии русский лес (а он отвечал за лесное хозяйство Севера), поддержал «красных». Помню, как в детстве слышал в разговоре бабушки и её сестры (той, что служила медсестрой у Колчака) о словах деда — их отца: «Большевики — варвары и бандиты, но они сохранят единую Россию, а лес русским, тогда как «белые» готовы отдать его англичанам». Иначе говоря, дед ещё в 1919 году стоял на той позиции, которую чуть позже ярко представлял Николай Васильевич Устрялов.

Отец моей матери был большевиком с 1905 года, подпольщиком, боевиком РСДРП, дважды осуждённым на каторжные работы. В 1914 году он бежал из Сибири, был арестован, но с началом войны его не стали возвращать в Сибирь, а мобилизовали. Хорошо воевал, был награждён двумя Георгиевскими крестами. После Гражданской войны направлен работать директором банка.

В воспоминаниях Вашего отца упоминается, что его жена, т. е. Ваша мама, одно время работала вместе с ним в Свердловском пединституте. Она тоже была философом?

Мама не была философом. Она получила филологическое образование, работала журналистом, преподавала русский язык и литературу. Затем воспитывала троих сыновей. Так что к работе в Свердловском пединституте вернулась уже после того, как отец поменял его на университет. Она лет десять была руководителем аспирантуры этого вуза.

Джордж Гэллап принадлежал к десятому поколению американцев. Когда я собирал информацию о нём, мне написал один из активных членов The Gallup Family Association: «...Конечно, Джордж Гэллап был самым настоящим американцем. Длительная история нашей семьи заставляет нас принимать близко к сердцу всё происходящее в стране, усиливает чувство причастности к ней. Мы гордимся тем, что являемся частью истории великой страны. Мы ничуть не больше американцы, чем все остальные, но, живя здесь с 1630 года, знаем, кто мы такие и какова наша роль в этом великом потоке истории». Каково это — чувствовать свою принадлежность к большой, многопоколенной семье и ощущать историю страны через прошлое своей семьи?

Чувство принадлежности народу, стране, культуре — это исток не только патриотизма, но также переживания истории, даже некоего исторического чутья, которое предшествует научным историческим исследованиям. Тот, кто лишён этого чувства, готов редуцировать историю к тем или иным социологическим или экономическим законам, не видя того, что сами эти социальные теории выдвигаются людьми определённой эпохи — уже завтра их сменят другие люди и другие теории. «Род уходит, и род приходит, а земля остаётся навек».

Это чувство собственной укоренённости в жизни народа является и основанием личной идентичности, того, что Пушкин назвал в одном наброске «самостоянием человека»:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его...

Вернёмся к траектории Вашей жизни. Вы родились и закончили школу в Свердловске? Какие из школьных предметов Вас привлекали? Что интересовало вне школы?

Да, учился я в Свердловске, в школе с углублённым изучением английского языка. Школа была не из лучших, состав учителей пёстрый — от очень приличных до малограмотных. Английский преподавали последние, и считалось, что к языкам у меня нет способностей. Я и сам так считал, пока не понял, что у меня просто нет желания всё время делать грамматические упражнения.

Мне нравились история, литература, география; математика и естественные науки меня не привлекали, хотя генетику и органическую химию я осваивал без особых проблем. Но по физике и математике выше «четвёрки» никогда не поднимался.

Конечно, занимался спортом (сначала плаванием, затем волейболом), но из внешкольных интересов на первом месте было чтение. В старших классах прочитал том за томом многих русских и французских классиков — таков был набор книг в домашней библиотеке. В литературных журналах той поры печатались хорошие переводы западной литературы XX века. Помню, с каким наслаждением я читал «Мартовские иды» Т. Уайлдера и «Всю королевскую рать» Р. Пен Уоррена.

Пробовал сочинять и сам. Окончательно оставил эти попытки уже в аспирантуре, когда понял, что писатель из меня получится, но только средненький, а потому без жалости истребил все наброски. Единственный большой набросок был фрагментом исторического романа — я хотел стать историком.

Уже упоминал драматический театр и консерваторию. В миллионный по населению Свердловск, город с двумя десятками вузов, охотно приезжали лучшие советские исполнители, и я слушал Давида Ойстраха и прочих «звёзд» консерватории. Оперный театр посещал реже. А главный режиссёр драматического театра был близким другом моих родителей, поэтому я изнутри знал этот театр, что и как они ставят. Каждое лето в Свердловск приезжал на гастроли какой-нибудь московский театр, но на лето мы уезжали к бабушке на Волгу.

Ещё один вопрос, относящийся к школьным и, возможно, студенческим годам. Насколько активно Вы участвовали в делах комсомольской организации? В жизни многих будущих философов, социологов, историков Вашего поколения общественная работа занимала важное место.

В делах комсомола я старался не участвовать. Уже к старшим классам школы у меня сформировалось негативное отношение к этой организации. Оно ещё не было политически окрашенным, хотя сомнения в том, что «всё к лучшему в этом лучшем из миров» уже были. Поучаствовать пришлось позже, когда начал преподавать (для молодых преподавателей общественная работа была обязательной). Не всё в этой комсомольской деятельности было дурно, и занимались ею самые разные люди — от милейших идеалистов до откровенных подлецов. Ничего плохого в том, что я работал в студенческом стройотряде, каковые организовывались по линии ВЛКСМ, я не вижу. Но меня не прельщала (и не прельщает) политическая карьера. Да и был я в то время довольно замкнутым юношей — типичным интровертом, если использовать терминологию К. Г. Юнга.

Для меня неожиданно прозвучали Ваши слова: «...считалось, что к языкам у меня нет способностей». Вы успешно переводите крайне сложные в логическом и стилистическом отношении книги по различным направлениям философии, социологии, психоанализу с английского, немецкого, французского, испанского (и других ?) языков. Я думал, что знание языков в Вашем случае — след влияния Ваших родственников из старшего поколения и что оно закладывалось в детстве-юности. А в действительности когда сформировался Ваш интерес к языкам? Как случилось, что Вы не ограничились чтением научной литературы «для себя», но занялись переводом?

Относительно способностей к языкам. «Считалось» именно учительницами английского, полагавшими, что знание языка сводится к знанию грамматики. В последнем классе школы обнаружилось, что и чтение, и перевод, и разговор на иностранном языке не так уж сложны, а нежелание делать грамматические упражнения сказывается только на письме. В случае английского это ещё не так чувствительно, а вот уже более сложный с точки зрения грамматики немецкий требует усердия в заучивании падежей и глагольных форм.

Переводил я действительно с английского, французского, немецкого и испанского. До неплохого уровня выучил польский, причём очень быстро, поскольку он близок к русскому и ещё более к украинскому (отец побудил меня лет в двенадцать-тринадцать прочесть двухтомник стихов и прозы Тараса Шевченко в подлиннике). Позже выучил латынь, но совершенно её забыл. За древнегреческий взялся, но скоро оставил: сил нужно положить много, а в круг занятий не входит. Из тщеславия тратить время на древний язык мне не захотелось: *vanity of vanities...*

Сказать точно, когда сформировался интерес к языкам, я не могу. В университете я учил французский, на последнем курсе заинтересовался философией Хосе Ортеги-и-Гассета, выучил испанский (впоследствии читал на испанском лекции кубинским студентам). Специалисту по западной философии не обойтись без немецкого, его я выучил уже будучи молодым преподавателем МГУ. Знание каждого нового иностранного языка открывает для тебя и иной «жизненный мир». Так что опыт этот был для меня важен. Правда, ни один из иностранных языков я не знаю в совершенстве, но все они для меня рабочие. А читать книги доводилось и на других языках. В своё время несколько книг прочитал по-итальянски — он просто очень близок к испанскому, равно как и португальский (читал на нём газеты).

Переводить начал рано, ещё студентом на Урале. Тогда обнаружилось, что это у меня получается. На четвертом курсе перевёл с английского довольно большой текст Карла Поппера (перевод затерялся). Много стал переводить только в эпоху «перестройки». Ранее тексты большинства западных мыслителей не переводились, мешала идеология. Мне довелось десять лет вести семинарские занятия со студентами по воззрениям мыслителей, которых они не читали. Так что для занятия переводами были, можно сказать, идейные мотивы.

В постсоветской России к ним добавились и вполне материальные стимулы. Я работал в институте Академии наук, получал, будучи доктором наук и заведующим сектором, около 50 долларов в месяц. В девяностые я перевёл десятка два книг — мне не хотелось уходить в бизнес или в политику (предложения были, но я предпочёл остаться в науке).

Вы уже частично ответили на мой следующий вопрос. После школы Вы поступили в Свердловский университет на философский факультет. Почему не на исторический, почему не в МГУ или ЛГУ? По какой кафедре Вы специализировались?

Исторический факультет был довольно слабым по составу преподавателей, сильными там были только византилисты, а меня в то время Византия не очень интересовала. На философском факультете тогда читали трёхлетний курс всеобщей истории. Кстати, хорошо читали свою часть, опять же, только византилисты во главе с легендарным Михаилом Яковлевичем Сюзюмовым.

Образование российским философам давали хорошее, каким бы странным это ни казалось сегодня. Идеологических курсов было не больше, а меньше, чем у историков или экономистов. Так как мой отец был создателем этого факультета, то его программа несла на себе след личных пристрастий. Политэкономия была сокращена в сравнении с программой МГУ в два с половиной раза, зато полтора года я изучал математику, год — физику, год — биологию, семестр — астрономию и ещё семестр — экологию (это в 1971 году!). Меня эти предметы не особенно интересовали. Разумеется, лучше иметь некоторое представление о красном смещении галактик или о кольчатых червях, но историку можно без таких знаний и обойтись. Правда, в дальнейшем мне курс математики и физики помогал при изучении (а потом и преподавании) философии Нового времени. Однако время было потрачено огромное на решение задач по интегралам, причём по учебнику для радиофакультетов политехнических институтов.

С третьего курса началась специализация, и я пошёл на кафедру исторического материализма и марксистской социологии, поскольку особой кафедры истории философии в УрГУ не было. Правда, и на этой кафедре марксистской схоластики почти не было. Прослушал курсы по социальным измерениям, по методике и технике социологических исследований. Понял, что это тоже не моё. Курсовые работы писал по истории социологии: американские теории социальной стратификации, социология Ф. Тённиса (прочитал его главный труд по-английски, немецкого тогда ещё не знал).

В 1972 году отец возглавил Институт социологии (тогда еще ИКСИ), семья переехала в Москву, а я перешёл на четвертый курс философского факультета МГУ на кафедру истории философии. Стоит сказать, что философское образование в МГУ было другим, чем на Урале. Некоторые философские предметы читали лучше — логику, историю философии, но образование в целом было куда более идеологизированным, схоластическим. А некоторые курсы, вроде марксистско-ленинской этики, были откровенно скучны. Так как к тому времени я уже был настроен весьма «антисоветски», то ряд курсов воспринимал как неумную пропаганду. Да и как иначе можно было воспринимать курс по русской философии, если её вершинами были объявлены Добролюбов и Плеханов, а философы Серебряного века не изучались вообще? Труды их даже в спецхране имелись только на иностранных языках, поэтому я читал одну работу Бердяева по-английски, а другую по-французски. Впоследствии помогал так называемый самиздат, но в начале семидесятых он ещё не получил широкого распространения.

В какой-то момент меня заинтересовала философия Ортеги, я прочитал с десяток его книг по-английски, несколько работ на тогда ещё плохо выученном испанском и написал дипломную работу по социальной философии Ортеги-и-Гассета.

О М. Я. Сюзюмове я услышал, когда интервьюировал учившегося у него много раньше Вас Г. Е. Зборовского. Естественно, что он обстоятельно рассказал и о Л. Н. Когане. Не могли бы и Вы поделиться своими воспоминаниями о Когане и Сюзюмове, а также, возможно, и о других ваших преподавателях. Какие курсы в университете вёл ваш отец – Михаил Николаевич Руткевич?

С Сюзюмовым дружил мой дед-историк, более того, дед помог ему устроиться на работу после лагеря. Об этом я слышал от отца, коего Сюзюмов звал попросту Мишей. Помню, два забавных рассказа отца. Идёт заседание учёного совета, на котором кто-то спрашивает Сюзюмова, действительно ли он сидел семь лет в лагере, на что тот громко отвечает: «Какой же приличный человек в Советском Союзе не сидел». Другой рассказ относится к 1967 году, когда проходили всякие мероприятия по поводу 50-летия Октябрьской революции. Сюзюмова потащили как свидетеля революции в школу к пионерам. Он действительно был в Петрограде в конце октября 1917 года. И перед полным залом школьников Сюзюмов стал вспоминать: «Да, с утра немножко постреляли, потом затихло. В читальном зале университетской библиотеки мне работать никто не мешал».

Лев Коган учился с моей мамой в одной школе (кажется, классом младше). Так как он физически не годился для армии, то, один из немногих, уцелел во время войны – из класса мамы на 1945 год в живых осталось только двое ребят. Выбитое войной поколение. Когана я дома видел очень часто, семьи дружили. Человек он был яркий, душа компании, большой жизнелюб (и женолюб). Из множества анекдотов и баек, которые он рассказывал, вспомнилась одна: «Как так получается, – говорил Коган, – сам я еврей, жена у меня полька, а дети оказались белорусами?». Общение с ним отец прекратил в девяностые годы. Коган заведовал кафедрой научного коммунизма, но в 1992 году публично сжёг партбилет. Для преданного марксизму человека, каким был мой отец, это было предательство, да ещё и мелочное, из карьерных целей. Мне представляется, мотивы Льва Наумовича были совсем иными.

В УрГУ лекции хорошо читали немногие профессора. Уровень преподавателей философии был довольно посредственный, биологию и физику читали куда лучше, чем логику или историю философии. Как ни странно, одним из лучших лекторов был молодой доктор наук (не помню фамилию), читавший историю КПСС. Из социологов запомнился Владимир Александрович Ядов, который на неделю приехал в Свердловск, а отец попросил его прочитать короткий курс студентам (кажется, излагал он нам тогда Т. Парсонса).

Сам отец читал курс по диалектическому материализму для первокурсников (его я прослушал) и какой-то курс по социологии для старшекурсников – о нём ничего не могу сказать. Читал убедительно, ясно, логично. Да и учебник у него был по диалектату хороший. Только у меня диалект уже тогда не вызывал симпатий. Не потому, что я был такой прозорливый и умный; просто была какая-то

неудовлетворённость этой весьма догматичной дисциплиной. Склонность к скептицизму уже в какой-то форме у меня присутствовала и мешала вере в «диалектику природы».

В МГУ отлично читал курс по современной западной философии Алексей Сергеевич Богомолов, довольно интересным был курс по рукописям Маркса к «Капиталу» (так называемые Grundrisse) Георгия Александровича Багатуряна. Некоторые курсы, вроде политэкономии социализма и научного коммунизма, я просто прогулял.

Чем бы Вы сегодня объяснили Ваш ранний интерес к Ортеге?

Интерес у меня был к философии первой трети XX века. Собственно говоря, значительная часть мною написанного касается именно философии конца XIX – начала XX веков. В интеллектуальной истории Испании обнаруживается довольно много параллелей с Россией. Интерес был и к испанской поэзии – от Хорхе Манрике до Антонио Мачадо, и к живописи – Эль Греко, Веласкесу и др. Ортега очень яркий философ, отличающийся прекрасным стилем. Я прочитал несколько книг и заинтересовался. Дипломную работу я писал по социальной философии Ортеги, изложенной им в сочинении «Человек и люди». Для меня это явилось переходом от истории социологии к истории философии.

Ранее я питал интерес к истории социологии, но поскольку отец возглавлял ИКСИ, продолжать эти занятия далее я не мог. Не только потому, что мне претил любой намёк на протекцию. Отношения с отцом в то время были скверные; бывало так, что мы, проживая в одной квартире, пару месяцев друг с другом не разговаривали. Отношения более или менее наладились только через несколько лет, когда я жил уже отдельно от родителей. Вероятно, решающую роль в нашем примирении сыграли мои маленькие дочери, которых никак не волновали идеологические дебаты.

Да и вся «кухня» советской социологии вызывала отвращение. Даже в среде советских философов (мягко говоря, не очень похожей на нормальное научное сообщество) не было такого взаимного доносительства, непрестанной склоки, сведения счётов и т.п. Вспоминаю, как работавший в ИКСИ Юрий Николаевич Давыдов со смехом говорил об интригах в социологическом сообществе: «Они задумывают столь сложные схемы интриг, что по ходу дела забывают, ради чего начинали свару».

Как развивались события после окончания университета?

После завершения учёбы я поступил в аспирантуру на кафедру истории зарубежной философии. На то время это была самая сильная кафедра философского факультета МГУ. Моим научным руководителем был Богомолов, крупный специалист по немецкой и англо-американской философии XX века, который в те годы начал заниматься и античной философией. Первые, ещё довольно слабые статьи, начало педагогической работы. Меня уже в аспирантуре основательно загрузили семинарскими занятиями со студентами – эта работа мне давалась легко и нравилась. Диссертацию написал и защитил по испанской философии: «Социальная философия “Мадридской школы”» (Ортега и его последователи).

Из важных для меня человеческих контактов, отмечу общение с супругами Пиамой Павловной Гайдено и Юрием Николаевичем Давыдовым. Эти видные учёные были «подписантами», т.е. людьми, так сказать, политически неблагонадежными. Но именно они (а отчасти и Богомолов) удержали меня от превращения в типичного диссидента конца 1970-х годов.

На это время приходится и постепенно вызревавшая трансформация моих философских взглядов. При всей моей оппозиционности всему «советскому», я оставался марксистом, пусть и неортодоксальным. В 1960–70-е годы и на Западе марксизм был весьма влиятелен, а я ещё студентом читал и Маркузе, и Фромма, и югославский журнал «Праксис». Иными словами, подобно большинству представителей поколения «шестидесятников», я склонялся к некоему «марксизму с человеческим лицом», т.е. к Марксу, слитому с Сартром, Фроммом и им подобным. Под конец аспирантуры марксистом я уже не был.

Набирало обороты движение думающих «семидесятников», людей моего поколения. Кто-то шёл быстрее, кто-то медленнее. Если философы из поколения моего отца от жуткой схоластики переходили к философским проблемам естествознания, а «шестидесятники» от Ленина и Энгельса сдвинулись к «истинному Марксу» (т.е. к молодому Марксу рукописей 1844 года), то моё поколение, родившееся после войны (между 1945 и 1955 гг.), стало отвергать марксистскую доктрину целиком. А уж дальше пути расходились: одни через русскую религиозную мысль двинулись к святоотеческой традиции, к христианскому неоплатонизму, другие через Карнапа и Поппера – к аналитической философии, третьи через Гуссерля и Хайдеггера – к философской герменевтике и т.д.

Правда, расставшись с марксизмом, я оставался «левым» в западном понимании, если угодно, социал-демократом. Таковым я перестал быть много позже, находясь во Франкфурте-на-Майне, в котором заправляла коалиция социал-демократов и «зелёных» (в частности, за культуру отвечал небезызвестный Даниэль Кон-Бендит. Наглядевшись на эту публику, я без особых сожалений распрощался с «левой» европейской традицией: «по плодам их узнаете их».

В связи с тем, что Вы затронули тему марксизма, задам Вам два вопроса. Как Вы объясните тот факт, что марксизм, который на протяжении десятилетий был теоретико-методологической базой советской философии и всех общественных наук, в конце XX века тихо «сдал свои позиции» в российском обществоведении? И второй вопрос: есть ли сейчас в России сильные теоретики-марксисты?

На мой взгляд, подавляющее большинство тех, кого в СССР именовали обществоведами, были людьми малограмотными. Шёл негативный отбор как среди экономистов и социологов, так и среди философов: наверх пробивались чаще всего самые убогие «марксисты». На кафедрах философии до сих пор сохранились такого сорта кадры. Идеологическую вершину представляли кураторы от ЦК КПСС, вроде неудобозабываемого академика П. Н. Федосеева. Серость плодила серость. Как только марксизм перестал быть кормушкой, открылась вся эта нищета.

В философии хотя бы имелись уголки, в которых можно было заниматься профессиональной деятельностью без жертвоприношения интеллекта (логика, история философии, философия науки). Куда хуже была ситуация у экономистов. По словам хорошо знающих тогдашнюю ситуацию коллег, на весь СССР

к концу режима было примерно двести человек, знавших современную экономическую теорию на уровне выпускника бакалавриата. Их тут же расхватывали банки и корпорации, в науке почти никто не остался. Получше обстояли дела у историков, поскольку специалисты по Шумеру или той же Византии неплохо работали. Среди них были и марксисты. В исторической науке марксизм не был столь бесплоден, как в философии или в экономике. Собственно говоря, то, что именуется на Западе социальной историей, возникло под прямым влиянием марксизма. Да и споры в марксистской терминологии между историками в советские годы (например, по поводу «азиатского способа производства») были вполне содержательными.

Одним словом, проиграл не столько марксизм, сколько официальная его версия, восходящая даже не к самому Марксу, а к «Краткому очерку истории ВКП(б)». Разумеется, было немало умных и образованных обществоведов. Далеко не всё из написанного в советские времена было ничтожно. Но всё это ушло вместе с серой пеной официальной доктрины.

Думаю, дело даже не в том, что в СССР марксизм сводился к неприглядной в интеллектуальном отношении версии, а всякие отклонения от официальной линии преследовались как «ревизионизм». Изменился мир, сама реальность сегодня плохо описывается в марксистских терминах. В начале XX века люди уровня П. Струве, Н. Бердяева и С. Булгакова уже в юные годы становились марксистами (даже Иван Ильин побывал членом РСДРП), поскольку разделённое на классы общество было наглядной действительностью, а к концу столетия устройство общества стало куда сложнее. Последний всплеск марксистской мысли на Западе (в 1950–70-е гг.) был связан с попытками учесть эту сложность. Франкфуртская школа в Германии, школа «Анналов» во Франции генетически связаны с марксизмом. Я совсем не исключаю того, что возможен ренессанс марксизма в ближайшие десятилетия. Упадок среднего класса, всевластие финансовой олигархии возвращают нас к тому обществу, которое соответствует марксистской доктрине.

О современных теоретиках-марксистах почти ничего сказать не могу. Как мне кажется, речь может идти не о «чистых» марксистах, но о людях, соединяющих марксистское наследие с кейнсианством в экономике (С. Ю. Глазьев), «мир-системным» анализом в истории (А. И. Фурсов). За идеологическими спорами я в последние годы не слежу. Вероятно, люди уровня Бориса Кагарлицкого пишут серьёзные тексты, но для того, чтобы о них судить, нужно их прочитать.

Кандидатскую диссертацию Вы защитили в 1978 году. После этого Вы продолжали разработку философии и социологии Ортеги или ушли в другую исследовательскую область?

Диссертация была готова к сентябрю 1977 года, защитил я её в апреле 1978 г. Потом ещё несколько лет занимался испанской философией, доработал текст диссертации и опубликовал первую монографию. Но примерно с 1980 года начал разрабатывать другие темы. Кажется, в 1980 году я прочитал первый курс по психоанализу. Много читал французских структуралистов. Поднял свой немецкий и в оригинале осваивал Гуссерля и Хайдеггера. Да и освоением истории философии приходилось заниматься основательно. У меня мог быть утром семинар по индийской философии, вечером — по неокантианству с «вечерниками»,

на другой день — занятие по Декарту или Лейбницу, а ещё через день — семинар по «Малой логике» Гегеля. Приходилось готовиться и читать. Тогда на факультете образовалось «кубинское отделение»: на три года приехали учиться философии кубинские студенты, и я читал им курс по истории философии. Русский они знали очень плохо, а потому я быстро перешёл на испанский.

При всём многообразии занятий главной исследовательской областью в восьмидесятые годы для меня стал психоанализ.

Вашей первой книгой по психоанализу стала опубликованная в 1985 году монография «От Фрейда к Хайдеггеру: Критический очерк экзистенциального психоанализа», где вы следовали путём Давыдова, Замошкина, Кисселя, Кона и других — через критику давали очерк основных идей психоанализа. Каким в конце 1970-х — первой половине 1980-х было отношение «официальной философии» к этому философскому направлению? Каков был Ваш собственный путь от социальной теории к психоанализу? Как Вы думаете, был ли в нём какой-то отголосок Ваших ранних попыток сочинять прозу?

Разумеется, все писавшие в те годы о современных западных теориях вынуждены были прибегать к эзопову языку, да ещё и цитировать «классиков марксизма» — без этого книга не могла выйти в свет. После того, как книга уже была отредактирована, завредакцией вызвала меня и потребовала, чтобы в каждой главе появилась такая цитата. Так сказать, творческое задание. Мне удалось отбиться только от ссылок на решения очередного съезда КПСС.

Официальное отношение к психоанализу было, естественно, негативным, несмотря на то, что в истории советской России был период, когда психоаналитики вели себя весьма активно и стремились участвовать в «воспитании нового человека». К адлеровской версии психоанализа положительно относился Троцкий. Строго говоря, запрета на психоанализ не было, но он сошёл на нет в начале 1930-х годов вместе с педагогическими экспериментами, окрещёнными «педологическими извращениями». Жёсткая критика психоанализа начинается в 1940—50-е годы, когда его представляют как часть «буржуазной идеологии эпохи империализма».

Философам было чуть проще обращаться к психоанализу, чем психологам или медикам. Обсуждать проблематику бессознательного психического разрешалось, а вот психотерапевты, которые в той или иной степени использовали технику психоанализа, вынуждены были это тщательно скрывать.

То, что психоанализ в явном или скрытом виде опирается на ряд философских тезисов, не является секретом. Расхождения внутри самой психоаналитической ассоциации, появление разных «ересей» (от Адлера и Юнга до Лакана) всякий раз сопровождалось философскими дискуссиями. Меня особенно интересовали те версии психоанализа, в которых трансформация фрейдовской «метапсихологии» совершалась за счёт её соединения с феноменологией Гуссерля и экзистенциальной аналитикой Хайдеггера. Так как в 1960—70-е годы эти теории межвоенных лет получили широкое хождение (прежде всего в рамках «антипсихиатрии»), то примерно треть моей книги было посвящено им.

Мотивы обращения к этой проблематике у меня были многообразные. Первый сдвиг к этим вопросам произошёл в студенчестве. В археологической экспедиции у меня на глазах сходил с ума мой ближайший друг; он окончил свои

дни в психиатрической лечебнице. В эти же годы советская психиатрия прославилась диагнозом «вялотекущая шизофрения», применявшимся и к здоровым людям. Но мне самому доводилось сталкиваться и с явно больными людьми, мания преследования у которых в советских условиях проявлялась специфическим образом: им казалось, что за ними следило КГБ, что их преследовала власть. Философа не может не интересовать вопрос: что есть норма, а что — отклонение от неё. Но что в том или ином обществе считают нормой и что болезнью? На манер П. Бергера и Т. Лукмана можно сказать, что «символическое конструирование реальности» в Древнем Египте производило человека, коего сегодня быстро упрятали бы в сумасшедший дом.

Свою роль сыграло и то, что западная культура была буквально пронизана прямыми или скрытыми отсылками к психоанализу. Взять хоть фильмы Феллини и Бергмана или некоторые сочинения Томаса Манна — их семантика предполагает знакомство с Фрейдом и Юнгом. Неплохо знать труды последних и для того, чтобы отличать настоящих творцов от жуликов. Какой-нибудь Сальвадор Дали всю жизнь играл роль творца с сумасшедшинкой; играл весьма успешно для неплохого рисовальщика, сделавшегося не только кумиром, но ещё и миллионером. Да и для понимания социальных наук необходимо: и культурная антропология Маргарет Мид, и социология Дэвида Рисмена — обе требуют знакомства с психоанализом.

Но преобладали у меня всё же теоретические интересы. Я с увлечением читал в те годы труды Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна, но марксистская психология вызывала всё больше вопросов. К тому же, ученики Выготского в то время принялись истолковывать свои результаты в духе Э. Ильенкова — той смеси гегельянства и марксизма, которая казалась мне пустословием. Чтение работ отечественных психиатров, медицинских психологов, учебников по физиологии и психопатологии на время отвлекло от философии. Опыт оказался бесполезным: ранние работы Бинсвангера или первое издание «Общей психопатологии» Ясперса кое-что проясняют и в философской антропологии.

Времени на чтение трудов Фрейда, Юнга, Бинсвангера я потратил много. Кстати, самым бесполезным в моей жизни я считаю время, проведённое за чтением по-немецки собрания сочинений Фрейда. Правда, сей «подвиг» происходил позже, когда я был в Германии. Занятия психоанализом растянулись на два десятилетия: переводил и издавал Фрейда, Юнга, Фромма, работал в архиве Юнга, встречался с его сыном и дочерью и т. д. Докторскую защитил по «глубинной герменевтике». В начале 1990-х гг. едва не стал деканом факультета прикладного психоанализа в московском психоаналитическом институте, но вовремя пригляделся и обнаружил, что сотрудничать придётся с откровенными жуликами, и отказался. Да и наскучил мне к тому времени психоанализ во всех его видах.

Если вернуться к книге, то она никак не связана с литературными опытами. Напротив, написана довольно сухо, наукообразно. Помню, что мне за «позитивистский стиль» книги сделал выговор Юрий Давыдов. Какую-то роль, вероятно, сыграло то, что книга вышла в «Политиздате», где наукообразие могло служить своего рода прикрытием. Сейчас не вспомню, был ли у меня такой мотив (могло и не быть). Единственное литературное место в книге: скрытая (из-за цензуры) цитата из «Дара» Набокова.

В последние несколько лет я стал прощупывать тему биографичности

творчества. Биографичность творчества поэтов, писателей, композиторов не вызывает сомнений. Мои беседы с советскими / российскими социологами обнаруживают биографичность их творчества, и – более широко – их деятельности. И биографичность будет усиливаться, если государство ослабит давление на личность. В какой мере можно говорить о биографичности, т.е. обусловленности событиями личной жизни, научного наследия тех учёных, которых Вы изучали и продолжаете изучать?

Для развёрнутого ответа на эти вопросы пришлось бы писать целую статью. Как историк мысли я являюсь наследником той традиции, которая восходит к Шлейермахеру, Дройзену, Дильтею. Она предполагает обращение к биографии. В то же самое время я признаю и границы биографической интерпретации применительно к научному знанию. Понять учёного – значит понять те проблемы, которые он решал на протяжении своей жизни, а эти проблемы не обусловлены детскими переживаниями, юношескими порывами и т.п. Конечно, опыт революции и гражданской войны в России многое определил в творчестве Александра Кожева, о котором я сейчас пишу, но его антропология и философия истории восходят к младогегельянцам XIX века, к Ницше, Хайдеггеру. В понимании метафизики или биологии Аристотеля изыскания в его биографии («Платон мне друг, но истина дороже») помогут не больше, чем попытки найти Эдипов комплекс у Фомы Аквинского или Рассела.

На основании имеющегося у меня опыта могу сказать, что есть мыслители, для понимания которых привлечение биографических данных бывает полезно. Скажем, «Миф о Сизифе» Камю передаёт его собственный опыт болезни, отчаяния, абсурда. Аналитическая психология К. Г. Юнга несёт след не только его юношеских увлечений эзотерикой, но также личного душевного кризиса во время Первой мировой войны. Только содержание аналитической психологии обусловлено долгой историей витализма и спиритуализма в XIX веке, а для понимания аргументов Камю стоит прочитать «Философию трагедии» Льва Шестова.

Но у меня ничуть не меньше примеров отсутствия какого бы то ни было воздействия подобного опыта. Нельзя, например, сказать, что интерес к онтологическому аргументу Ансельма и Декарта, а затем к истории науки Нового времени появился у Койре в результате его революционной деятельности в партии эсеров в ранней юности, фронтовому опыту, участию в Гражданской войне и т.п. Главную роль здесь играло именно увлечение философией Гуссерля и математикой. Вероятно, найдутся психоаналитики, которые и увлечение математикой объяснят какой-нибудь стадией развития либидо в раннем детстве, но у меня выработалось устойчивое недоверие к подобной археологии.

Не вполне соглашусь с вами в том, что относится к государству. Конечно, режим какого-нибудь Пол Пота смертелен для творческих деятелей. Но и эпоха барокко, в которую возникали наука и национальная европейская литература, и «золотые века» немецкой или русской культуры обнаруживаются в не самых благоприятных для личных свобод государствах. Наш Серебряный век начинается во времена Александра III, а сами мы являемся свидетелями того, что устраивавшая гонения на генетику и кибернетику власть в то же самое время поспособствовала чрезвычайно быстрому развитию физики и математики. Шостакович и Свиридов были именно советскими композиторами, хотя и не слишком любили коммунистическую идеократию. Театральное искусство в под-

цензурном СССР было на голову выше, чем в нынешней постсоветской России. В Великобритании, куда более свободной в XIX веке, чем Германия или Россия, мы не находим такого всплеска литературы, музыки, философии. В коммунистической Польской Народной Республике работали отменные социологи и интересные философы — есть ли подобные им в нынешней Польше? Я мог бы предположить, что противостояние авторитарной или тоталитарной власти порождает усилия, которые способствуют творчеству в разных областях. Потенциальный революционный трибун или член парламента в условиях несвободы оказывается великим композитором или учёным. Но это лишь гипотеза. Кем стали бы в условиях демократии русские нонконформисты вроде Герцена или Бакунина? Бог весть.

Короче говоря, историку необходимо учитывать и личность творца, и принадлежность к социальной группе, и принадлежность к той или иной нации, и степень авторитарности государства, и случайные события (Ницше случайно наткнулся на том Шопенгауэра в книжной лавке) и многое другое. Но на первом месте — в случае философии и науки — стоит всё же круг проблем, с которыми имели дело мыслители прошлого. Этот горизонт также историчен, он обусловлен прошлым. Только не личным прошлым, а историей научной дисциплины. В случае философии речь, наверное, может идти об истории всей нашей цивилизации.

В своих будущих текстах я буду говорить о разных формах влияния государства на творчество. Но так получилось, что я многие годы интересовался биографиями физиков, а потом — выдающихся американских рекламистов и первых полстеров. И когда в 2004 году начал изучать жизнь Б. А. Грушина, то первое, что буквально бросилось в глаза, это присутствие в каждой точке его жизненной траектории государства ...

К сожалению, до нашего интервью я ничего не слышал об Александре Кожеве, не читал его работ. Кожев покинул Россию в 18 лет, опыт его жизни в России был невелик и потому не мог глубоко и «широко» влиять на его творчество, но, наверное, его понимание антропологии и философии истории отмечено влиянием и русской истории, и русской литературы, и православия?

Не удивляюсь тому, что у наших «шестидесятников» отношение к государству чаще всего негативное. Они унаследовали этот «комплекс» от дореволюционной интеллигенции. «Вехи», конечно, читали, не понимая того, что в этом сборнике описываются и они сами. Насколько пагубно всё это манихейство («до основанья, а затем»), показали девяностые годы, когда примитивные схемы, заимствованные даже не из учебника Economics, а из популярной книжки Хайека, стали применять к сложной социальной реальности. Один «изм» с лёгкостью поменяли на другой. Не помню, кто именно из дореволюционных мыслителей писал, что русские западники всё время путали западные идеалы с чудесами. В той или иной вполне рациональной программе (хоть план, хоть рынок) находили живую воду, семимильные сапоги, ковёр-самолет... Сентиментальные разрушители, которых умело использовали куда более практичные стяжатели и властолюбцы.

Сам я тоже этим переболел, избавлялся от такой упрощённой картины социальной и политической жизни постепенно, помогали умные тексты мыслителей прошлого. Вспоминаю, как читал году в 1978-м текст Ханны Арендт

о революции, в котором чётко разграничивались понятия «власть», «господство» и «авторитет». Отношение к советской системе у меня не поменялось, прибавилось понимание сложности современного мира, в котором на бюрократию ложатся и пенсии, и пособия, и школы, и организация труда инвалидов, и проблемы закрывающихся предприятий в моногородах и т.п. Мы знаем не только о провалах государства, но и о провалах рынка, передаём решение множества вопросов чиновникам и «унтер-офицерам» бюрократии и не можем без последних обойтись.

Но есть и не менее важная сторона: лишённые собственного государства нации либо исчезают, либо проходят через мучительные испытания. Необязательно даже вспоминать историю сионистского движения, возьмите опыт поляков, армян, балканских народов. В идеологические (и небескорыстные) сказания о глобализации я верю не больше, чем в «реальный социализм».

В общем, я могу отнести себя в равной степени к наследникам Гоббса и Гегеля (а в политической социологии – Макса Вебера и отчасти Лео Штрауса), но никак не Руссо и не Ленина. Главной проблемой сегодняшней России является не авторитаризм, «полицейское государство», а то, что аппарат государства до сих пор находится в руках олигархических кланов, слившихся с естественными монополиями. Но эти кланы у нас хотя бы ограничены в своих устремлениях. Не будь этого, наша ситуация напоминала бы украинскую. Мы хоть какую-то прививку от «семибанкирщины» получили. Развал страны с ядерными электростанциями (не говоря уж о боеголовках!) вряд ли может служить рациональной целью какого бы то ни было осмысленного политического проекта.

Обо всём этом можно писать долго, не хочу сбиваться на публицистику. Кстати, последний переведённый мною текст Александра Кожева – небольшая книжка «Понятие власти», написанная им «в стол» в 1943 году и лишь недавно опубликованная во Франции, – содержит довольно любопытную классификацию типов власти.

С творчеством Кожева я начал знакомиться в середине 1990-х гг. Ранее, конечно, что-то знал по второисточникам, но специально им не занимался. Перешёл я к нему после недолгих занятий трудами его близкого друга, тоже эмигранта, Александра Койре. Я перевёл сборник последнего «Мистики, алхимики, спиритуалисты Германии XVI века», поработал в его архиве в Париже. Там я узнал, что ещё жива спутница жизни Кожева Нина Владимировна Иванова. Несмотря на возраст, она обладала прекрасной памятью, сама расшифровывала рукописи Кожева (после болезни, перенесённой им в 1929–1930 гг., почерк у него стал совершенно неразборчивым). Привлёк к расшифровке рукописей сначала мою живущую в Париже дочь, затем тогдашнюю *de facto* (не *de jure*) жену, сам поучаствовал в этом проекте. Переводил, издавал, сейчас пытаюсь дописать о нём книгу, чему препятствуют бесконечные административные дела (*too much administrative strain* – так это звучит по-английски?).

Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что православие в жизни Кожева никакой роли не играло, он был атеистом. Но он не случайно до конца дней внимательно изучал тексты не только неоплатоников-язычников, но и отцов церкви. Атеизм у него был «гегельянский», т. е. признающий «истину» христианства, которая «снимается» в философии. Но об этом мне пришлось бы писать страниц десять, а потому ограничусь лишь рядом замечаний. Кожев защищал

диссертацию о метафизике Владимира Соловьёва под руководством К. Ясперса в Гейдельберге (он учился в Германии). Целый ряд его философских размышлений восходит к спорам о «богочеловечестве» и «человекобожестве» в дореволюционной России. Русскому искусству посвящён лишь один его текст — статья о «конкретной живописи» его родного дяди Василия Кандинского. На стене его квартиры я видел несколько небольших картин Кандинского. Что же касается его философии истории, то наиболее известная её часть, вошедшая в оборот даже у американских политологов («конец истории», Фукуяма!), содержит отсылки не только к Французской революции и Наполеону, но также к большевистской революции и Сталину как «Наполеону индустриальной эпохи». Впрочем, на реальность СССР он смотрел критически, а само завершающее историю «универсальное и гомогенное государство» с конца 1940-х гг. стал пессимистически описывать как царство нищезанского «последнего человека».

Словом, к кругу моих занятий в последнее время относится творчество тех русских эмигрантов, которые стали писать на чужих языках — в отличие от большинства других, продолжавших в эмиграции споры, начавшиеся в Москве и Петербурге до революции. У нас до сих пор не получил хождения целый ряд текстов Фёдора Степуна и Ивана Ильина, написанных по-немецки. До Питирима Сорокина, боюсь, руки (глаза, голова) так и не дойдут.

Меня вообще интересует эта тема: как менялись концепции в другом культурном окружении, что они собой приносили и т. д.? Мне приходилось читать покинувших Испанию после гражданской войны учеников Ортеги, немало сделавших для развития философии в странах Латинской Америки. Немецких философов, психоаналитиков, социологов, осевших в США и Великобритании (например, Норберта Элиаса, которого я переводил и издавал).

По Вашему мнению, какое значение для современной российской социологии может иметь изучение деятельности социологов, оказавшихся в годы гражданской войны в эмиграции? И здесь же вопрос иного плана. В Париже Вам несказанно повезло: Вы встретились со спутницей жизни Кожева, смогли получить доступ к его рукописям. Как Вы думаете, насколько вероятно сейчас найти в США и в Европе неизвестные работы русских социологов, философов, историков? Имеет ли смысл искать или «поезд ушёл»?

Работа историка проходит в архивах. Он имеет дело с *past perfect* (даже с *pass simple*, если перейти на французский), завершившимся, лишённым прокуроров и адвокатов из числа свидетелей происходившего. Слова из романа «рукописи не горят», конечно, неверны: утрачено многое, но искать нам никто не запрещает. Скажем, переписку Кожева с его другом Лео Штраусом опубликовали недавно, равно как и переписку с Карлом Шмиттом. Самый резкий отзыв на «Открытое общество» Карла Поппера можно найти в переписке двух других эмигрантов, которых не заподозришь в симпатиях к тоталитаризму (обширное письмо Э. Фёгелина Штраусу). Чрезвычайно интересен цюрихский архив К. Г. Юнга, в котором я поработал три недели. Например, его переписка с Брисом Вышеславцевым, каковую, кроме меня, видимо, вообще никто не читал (она не очень интересна ни поклонникам, ни противникам Юнга из числа психоаналитиков). Или его отношения с Эмилием Метнером, важной фигурой в истории русского символизма.

В общем, как пелось в не столь уж давние времена: «Кто ищет, тот всегда найдёт».

Алексей, согласно моей типологии поколений советских/российских социологов, Вы относитесь к срединному пласту четвёртой когорты, которую образуют те, кто родился в интервале между 1947 и 1958 годами. В моей коллекции из 100 интервью уже 24 беседы с представителями этой общности, в т. ч. с теми, кого, я уверен, вы знаете: М. К. Горшковым, А. В. Полетаевым, И. М. Савельевой. В начале моей работы я называл эту страту «детьми социологов первого поколения», т.к. одними из первых беседовал с Е. А. Здравомысловой и Н. В. Ядовым, — соответственно, дочерью А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова. Получается, что и на Вас распространяется это определение.

Выше вы уже дважды говорили о сложных отношениях с отцом — Михаилом Николаевичем Руткевичем. Можно ли Вас спросить, в чём была причина таких отношений? Повлияло ли это «личное» на направленность и характер Ваших научных интересов?

Я уже отчасти ответил на этот вопрос: нас разделяла политика, идеология, та же философия. С августа 1968 года, т.е. будучи ещё школьником, я утратил детскую веру в то, что социализм может быть «с человеческим лицом». Когда стал что-то понимать в философии, распрощался с казённым диалектическим материализмом, а потом и с марксизмом вообще. А отец был человеком убеждённым, цельным, преданным и строю, и идеологии. Подозреваю, что с фронта он вынес чёрно-белое восприятие мира, который делится на друзей и врагов. Знай он Карла Шмитта, то удивился бы совпадению с ним (впрочем, он хорошо знал труды Ленина, у которого были схожие взгляды). Учитывая бойцовский характер и непрестанное желание вести военную кампанию, можно сказать, что он сам себе создавал врагов. А затем клеймил их. А тут враг обнаружился в собственной семье. Обоим было трудно.

Это повлияло на то, что социологию я оставил — социологом я себя не считаю. Грамотному историку нужно знать социологические теории, обладать, так сказать, социологическим видением, родственным с клиническим взглядом врача. У отца было чему поучиться, его работы по социальной структуре, по социологии образования я читал, он привил мне умение работать со статистикой — тут он был виртуозом. Его дважды вызывали в комитет цензуры с вопросом: где и у кого он добыл совершенно засекреченные данные? А он их вычислял по открытым цензурой сведениям. Но эта работа меня никогда не вдохновляла и не слишком интересовала.

Историку интересны люди прошлого, жившие своей жизнью и во многом от нас отличавшиеся. Как написал некогда Леопольд фон Ранке, предметом истории являются не некие уроки прошлого для настоящего, а то, «как это действительно было» (*wie es eigentlich gewesen*). Так как индивиды всегда были общественными существами, то историк неизбежно обращается к социальной теории: понимать нужно группы, общности, общества. Но такая теория для него лишь средство, дополняемое чётким пониманием историчности самих концепций, выдвигаемых по поводу других обществ. Строго говоря, историку приходится на свой лад создавать собственную социологию применительно к обществу давнего прошлого. Ни сегодняшняя *economics*, ни марксизм во всех его ипостасях,

ни Дюркгейм или Парсонс не годятся для анализа древнеегипетского общества, в котором треть экономики работала на правильное захоронение (не только фараона, но и каждого египтянина).

А социологи, по большей части, истории не знают. Примером для меня может служить представитель символического интеракционизма Рэндалл Коллинз, который написал гигантский, в тысячу страниц, том об истории философской мысли, не понимая ничего ни в философии, ни в устройстве тех обществ, где эта философская мысль появлялась и существовала.

Словом, я ценю полёт мысли классиков социологии, идёт ли речь о «Капитале» Маркса, «Философии денег» Зиммеля, «символическом капитале» Бурдьё, но «капиталом» для меня лично как историка является, скорее, «Идея истории» Р. Дж. Коллингвуда, в которой социологизм подвергается суровой критике. Суждение «социальное понимать через социальное» никогда не было для меня догмой уже потому, что «социальное» по-разному понимается и толкуется самими социологами. Ничуть не лучше, чем «культурное понимать через культурное», «человеческое — через человеческое». Любой научный анализ предполагает редукцию как методологическое средство: и экономический, и социологический редукционизм оправданны, только не следует путать свои абстракции («идеальные типы», говоря веберовским языком) с многообразием изучаемого мира.

Если задать самому себе вопрос, кто из социологов оказал на меня воздействие, то, помимо марксистской школы, пройденной в студенчестве, я бы выделил Макса Вебера. Пожалуй, в какой-то степени я являюсь его наследником. Намерение написать небольшую книжку о социологии Норберта Элиаса не осуществилось, поскольку всё самое важное я сказал в большом предисловии к переведённому мною труду Элиаса «О процессе цивилизации». Но его теория «фигураций» меня не вдохновляла; интересен он мне тем, что пытался социологически осмыслить европейскую историю последних веков.

В последние годы я социологов практически не читаю. Если считать социологами (а не экономистами) Вернера Зомбарта и Карла Поланьи, смотреть на Макса Шелера прежде всего как на социолога знания, а не философа, то можно сказать, что я обращался к социальной теории, но лишь к историческим трудам. Разумеется, когда я пишу о «консервативной революции» в Веймарской республике или о месте философии в истории высшего образования, то неизбежно обращаю внимание на социальные конфликты, институты, на «эффект колеи» (как именуют давление традиции представители институциональной экономики), на статус тех или иных групп и т. п. Но так делают, на мой взгляд, все грамотные историки, что не делает их социологами.

Возможно, поскольку я начинал в математике и шёл через биометрику, психологию, методы социологии и анализ общественного мнения к истории социологии, я не склонен абсолютизировать границы между науками, тем более, что их классификаций масса. Вот А. В. Полетаев начинал как экономист, но в последние годы жизни считал себя социологом...

Я тоже не склонен проводить резкие дисциплинарные границы: мир не делится по факультетам. Тем не менее, существует не только разделение труда, но ещё и более или менее чёткое понимание, чем именно мы занимаемся, когда этот мир исследуем, какие методы применяем. Андрей Полетаев, с которым

мы были близкими друзьями, чаще говорил о себе как об историке, хотя у меня на факультете читал одно время, по моей просьбе, социологию знания. И он сам, и Ирина Савельева были поклонниками книги П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности» и авторами работ, которые можно назвать социологическими в собственном смысле слова, а у меня таких работ нет. Есть предисловия к трудам социологов, но к ним я подходил именно как историк мысли.

В хронологии Вашей жизни мы застряли в начале восьмидесятых. Вскоре пришла перестройка. Как Вам представляется сегодня, новые политические, идеологические реалии открыли Вам новые возможности для работы? Сделали ли они более свободным выбор исследовательских тем, освободили от самоцензуры, расширили ли методологические горизонты?

Естественно, как и многие другие учёные, я получил свободу писать без оглядки на партийные органы, говорить то, что думаю, просто-напросто посещать другие страны. В 1986 году я отправился на стажировку во Францию, причём я точно знаю, что до этого на мои поездки за границу был наложен запрет. Об этом мне сказал другой стажёр, которого поэксплуатировали чиновники Министерства образования: он видел мое дело, на котором красовалось: «не пущать». За пару лет до этого меня даже на Кубу не пустили (приглашали из тамошнего Института философии). Диссидентом я не был, но в разных компаниях говорил то, что думал, а уши бывают даже у стен. Видимо, с перестройкой была дана команда с ряда людей запрет снять. Восемь месяцев я пробыл в Париже (Сорбонна – 1), прочитал немалое число книг и статей, познакомился с рядом коллег, посмотрел Францию.

Относительно методологических горизонтов ничего сказать не могу, поскольку, как и многие эмпирики, остаюсь скептиком и эклектиком. Когда этого требует предмет исследования, я могу прибегать к феноменологии, герменевтике, структурному анализу, даже марксистская выучка иной раз может пригодиться. Разработкой какой-то собственной философской доктрины я почти не занимался. Могу приблизительно назвать себя «критическим реалистом» — этого мне достаточно для работы. Конечно, историк философии должен сам быть философом, иначе он просто не поймёт тех, кого он исследует. Собственно философских работ я написал немного (по философии истории, философии образования). Если сказать предельно кратко, я считаю себя наследником континентальной европейской философии (к каковой относится и русская). Сегодняшнюю аналитическую философию знаю поверхностно, да и отношу немалую часть её к стрельбе из пушек по воробьям. Попытки превратить философию в разновидность science, аргументы по поводу разработки аргументов — иногда это любопытно (скажем, я высоко ценю Дж. Сёрля), но чаще просто не интересно. Правда, при всех недостатках такой академической философии, она всё же сохранила многое от великой традиции, тогда как весь так называемый постмодерн я отношу к софистике, причём не самого лучшего толка.

Знакомился я с этой постструктуралистской философией именно в 1986 году, находясь во Франции. Тогда это меня вдохновляло. Вернувшись, даже прочитал (наверное, первым в России) спецкурс по философии Мишеля Фуко. Слушал лекции Деррида, Бурдьё, познакомился и полчаса проговорил с Делёзом, читал Лиотара...

Но возникшая в России мода на постмодерн меня не столько разочаровала, сколько рассмешила. Отбросить Маркса, чтобы сотворить себе кумира из Фуко или Деррида? Всерьёз считать вершиной мысли тексты расстриги от аналитической философии вроде Рорти? Дочитать до конца книгу Анкерсмита, когда видишь натяжки и софизмы с первой страницы? Слушать болтовню их подражателей, читать нелепицы какой-нибудь дамы, разрабатывающей «феминистскую теологию» или «гендерную компаративистику»? Как вообще записать в философию книги ничтожных новых философов вроде Глюксмана и Бернара-Анри Леви? В общем, я ещё тогда решил, что как-нибудь обойдусь без знакомства с многословием этой публики. Имею право быть неполиткорректным консерваторм, который называет вздором то, что таковым считает. Примерно с этого времени я стал держаться совета Огюста Конта: иные книги не стоит читать из соображений ментальной гигиены.

Конечно, создатели «постмодерна» были людьми незаурядными. Не думаю, что есть нужда писать здесь о каждом из них, а общая негативная характеристика не означает того, что я ничего ценного не находил у них тогда и не обнаружу сейчас, если перечитаю. Но мне гораздо симпатичнее тексты Поля Рикёра, своеобразная философия природы Марселя Конша, с которым я познакомился в ту поездку, равно как и некий «неоэпикуреизм» его ученика Андре Конт-Спонвиля.

Вскоре после возвращения из Франции, в начале 1988 года я перешёл в Институт философии в сектор, который тогда ещё носил типичное советское название – «критики современной буржуазной философии». Свободного времени стало куда больше, стал переводить и издавать «классику»: Камю, Фрейда, Юнга и т.д. А ещё через пару лет отправился в Германию.

В 1992 году Вы защитили докторскую диссертацию по теме «Глубинная герменевтика». В какой мере это было продолжением Ваших штудий в области психоанализа и в какой – уходом от психоанализа? Пожалуйста, поясните значение термина «глубинная герменевтика».

В Германии я был Fellow Фонда им. Александра фон Гумбольдта; приглашающей стороной выступил профессор Альфред Лоренцер, социальный психолог, психоаналитик. Ему принадлежит термин «глубинная герменевтика», хотя параллельно той же проблематикой занимались Юрген Хабермас и Карл-Отто Апель. Речь идёт о развитии в других обстоятельствах той программы соединения психоанализа с феноменологией и герменевтикой, которой я занимался ранее. Франкфуртская школа изначально была синтезом марксизма и психоанализа (Фромм, Маркузе, да и Адорно); у представителей «среднего поколения» Франкфуртской школы в этот синтез стала входить ещё и герменевтика. У Хабермаса это был короткий этап («Познание и интерес»), Апель этой программе остался верен на всю жизнь. Лоренцер философом не был, но его вес в немецкой психоаналитической ассоциации был большим, толковых книг он написал немало.

К сожалению, к моменту моего приезда Лоренцер уже был неизлечимо болен (Альцгеймер), а его ученики, с которыми мне довелось общаться, были людьми мелкими, типичными «левыми интеллектуалами», повторяющими, как мантры, слова Адорно или Маркузе. Социологический факультет, на котором я оказался, был забит такими преподавателями, а о качестве студентов и говорить не приходится. Издержки немецкой системы высшего образования, плодящей «вечных студентов». Средний срок обучения в немецких высших школах был тогда 21 семестр, а если вычесть инженерные институты, то средний студент учился в университете лет 13–14. Понятно, что на социологии оказывались не лучшие. И если философам всё же требуется за первые два года освоить малый Graeco-Latinum, то социологи годами осваивали курсы вроде Lesben und Frauen-Seminar, на котором они уясняли, что лесбиянки являются передовым отрядом борьбы феминисток за женское счастье. Единственным профессором, с которым у меня наладились дружеские отношения, был Хансфрид Кельнер (брат супруги Питера Бергера и его соавтор), философ по исходному образованию, ученик Хельмута Плесснера и знаток Макса Вебера. Он был на этом факультете белой вороной, я тоже...

Выше я уже говорил о том, что в Германии я сделался откровенным консерваторм. Видимо, сказался и опыт общения с «левыми интеллектуалами», малая часть которых ударилась в терроризм, а большая часть как раз в это время начала успешное вхождение в ранее ненавидимую «систему». Впереди всех шёл Йошка Фишер, но движение было общим. Как-то я прогуливался по улице Франкфурта, беседуя с дамой, занятой изданием трудов Маркузе. Она поздоровалась с вышедшим из банка индивидом, а потом сказала: «Вместе с ним мы бросали «коктейли Молотова» в витрину именно этого банка. Сегодня он является его вице-директором». Я в это время как раз читал тексты Арнольда Гелена и Хельмута Шельски, которые можно отнести к «социологии левых интеллектуалов»; их суждения были одинаково пригодны не только для немецких «бунтарей», но и для отечественных «прорабов перестройки».

Будучи предоставлен самому себе, я имел возможность в хорошей библиотеке читать немецких мыслителей XX века. С этого времени начинается мой интерес к «консервативной революции». Тогда я проработал труды представителей немецкой философской антропологии — Шелера, Плесснера, Гелена; открыл для себя и прочитал основные сочинения того же Элиаса. Естественно, я «раскопал» всё доступное по теме будущей диссертации, начитался Фрейда и его последователей, съездил в Швейцарию и поработал в архиве Юнга. Из благодарности к пригласившему меня Лоренцеру перевёл на русский его книгу об истории психоанализа.

Диссертацию я защитил вскоре после возвращения в Москву. Я намеревался начать с монографии, а уж затем писать «кирпич» диссертации. Однако меня вызвало в кабинет начальство и задало вопрос: готов ли я возглавить сектор, который утратил боевое коммунистическое название и стал сектором «современной западной философии». Мне этого не хотелось. Тогда было сказано: «В таком случае этот сектор прекратит своё существование и будет слит с другим». В секторе работали весьма уважаемые мною коллеги, занимавшиеся в коммунистические годы немецкой, французской, американской философией. Ни с кем «сливаться» они не желали. Я указал на то, что мне нужно быстро защитить

докторскую, на что получил ответ: «Защищайтесь по докладу, публикаций у вас достаточно, монография есть». Такая возможность, действительно тогда появилась, а я о ней не знал. За пару недель написал три авторских листа — наброски книги ведь имелись — и в январе 1993-го. защитил диссертацию. Писать на эту тему книгу уже не стал, основное содержание в кратком виде изложил в послесловии к книге Лоренцера «Археология психоанализа».

Отход же от психоанализа происходил постепенно. Нарботанный материал пошёл в предисловия к переводам, в быстро написанный том об истории психоанализа. Денег было мало, а тут я получил заказ от издательства на книгу о психоанализе на XX авторских листов с неплохим гонораром. Не будь такого внешнего побудителя, писать бы её не стал. Несмотря на то, что я в это время занимался ещё и разводом, разъездом и прочими не самыми весёлыми вещами, написал её быстро. В целом я этой книгой доволен: в ней есть и вполне уважительное отношение к Фрейдю и его наследникам, и дистанция, и довольно язвительная критика.

Выше я отметил, что четвертое поколение российских социологов можно назвать «детьми социологов первого поколения». Есть у Вашей профессионально-возрастной когорты ещё одно метафорическое название — «их спасла перестройка». Имеется в виду, что события конца 1980-х годов открыли перед молодыми тогда социологами новые перспективы для работы. Правда, начало 1990-х было крайне трудным. В какой мере «их спасла перестройка» распространяется на Вас?

Не думаю, что меня перестройка «спасла». В отличие от многих моих друзей и знакомых, я не спился, не ушёл в дворники-диссиденты, наконец, мог заниматься осмысленным делом — учить студентов Аристотелю и Канту. Границы самовыражению, самооценке были привычны. Позднесоветский мир был для меня тошнотворным, но всё же кровавым он не был. Были ли времена Калигулы или императоров-иконоборцев лучше? Или, если брать нашу историю, времена какой-нибудь Анны Иоанновны?

Припоминаю, что я часто повторял тогда: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Правда, я ещё не ведал о тех временах, которые наступят в 1990-е. Конец девяностых мог посоревноваться с брежневской эпохой в низости и даже победить в этом соревновании. У меня нет ностальгии ни по СССР, ни по ельцинской России; нет иллюзий и по поводу настоящего.

В книге о российской социологии 60-х годов, вышедшей под редакцией Г. С. Батыгина, есть его интервью с Вашим отцом, озаглавленное: «Многое было предпринято». Похоже, что Вы с Геннадием учились на одном или на соседних курсах философского факультета МГУ. Вы знакомы с содержанием этой беседы? Не приходилось ли Вам обсуждать с Михаилом Николаевичем уже в 2000-х его деятельность на посту директора Института социологии РАН?

Мы с Геннадием однокурсники, были друзьями (хорошо узнали друг друга в военных лагерях — жили в одной палатке). Последний раз я его видел где-то за месяц до его смерти. Он рассказывал о том, как напряжённо занимается текстами Ницше.

Я ему в каком-то смысле помог стать социологом. Он тогда носил фамилию отца (Гантман), и, несмотря на диплом с отличием, на работу его не брали. Дело не только в антисемитизме, беспартийному устроиться преподавателем в вуз было в то время чрезвычайно сложно. Я свёл его с отцом, тогда директором ИКСИ, тот взял Гену сначала на временную должность, а через год-полтора на постоянную ставку.

С отцом его деятельность мы обсуждали много раньше, в конце 1980-х, и после к этой теме не возвращались. Он был убеждён в своей правоте, полагая, что разгонял не учёных по идеологическим причинам, а бездельников, которые ничего не знали и умели на него только доносы в ЦК КПСС строчить (их действительно только за первый год его работы было более двухсот). Сожалел он лишь о конфликте с Грушиным, с которым, кстати, отношения остались неплохими, но и в данном случае говорил мне что-то о неправильном понимании Грушиным «общественного мнения». Не будучи специалистом, не берусь судить, кто прав, да и не моё это дело. Меня коробило в действиях и отца, и его оппонентов совсем другое.

Так как я изнутри знал конфликты в философском сообществе (а кое-что слышал от своего друга, сына будущего члена Политбюро), то представляю себе скрытую от большинства наблюдателей подоплёку. Шла драка в верхах. Группа лиц, в которую входил отец (кажется, Иовчук возглавлял их, но может быть кто-то и повыше — говорили о Кириленко), пыталась «свергнуть» Федосеева, а тот имел прямой выход на Суслова и пользовался поддержкой последнего. Никакой идейной разницы между этими группами не было, шла подковёрная борьба за власть, в которой сошлись и два отдела (идеологии и пропаганды) ЦК. Отца сняли, а Федосееву не удалось посадить своего кандидата, некоего В. Семёнова, которому, впрочем, вскоре досталось место главного редактора журнала «Вопросы философии». Если вы не читали роман моего коллеги и друга Владимира Кантора «Крокодил», то рекомендую прочитать. Там ярко описана фигура главного редактора.

Поскольку я представлял себе подноготную этих баталий, то и спрашивать об этом отца мне не было нужды. Мастером интриги он не был, да и сам наплодил конфликтных ситуаций с людьми, не имевшими ни малейшего отношения к этой драке. Идеологическими ярлыками люди той поры награждали друг друга щедро. Поинтересуйтесь предысторией, тем, какие интересные «теоретические» дискуссии ещё до прихода моего отца на пост директора ИКСИ вели Г. Осипов и Ф. Бурлацкий.

Единственное, в чём я с ним не мог не согласиться, это в том, что в ИКСИ было невероятное количество бездельников. Впрочем, так же обстояли дела во всех гуманитарных и социальных институтах АН СССР. Я сам застал в конце восьмидесятых Институт философии, в котором трудилось четыреста научных сотрудников, из которых я с натяжкой мог бы назвать «коллегами» четвертую часть. В Институте социологии ситуация была ещё хуже. У меня там работала и работает поныне первая жена. Не уверен в том, что сей институт качественно изменился за последние четверть века. Но об этом лучше спросить кого-нибудь из социологов, например, работающего у меня на факультете Александра Филиппова. Кстати, он в последние годы жизни Геннадия общался с ним чаще меня.

После защиты Вами докторской диссертации прошло два десятилетия, срок — немалый. Как бы Вы очертили в целом предметное, или проблемное, поле, которое Вы разрабатывали? Скажу иначе, последние двадцать лет Вы рассматриваете как время изучения одной многоаспектной темы или Ваши исследовательские интересы претерпевали серьёзные изменения?

Диссертацией я, скорее, завершал работу предшествующих лет. Хотя в девятностые я написал целый ряд текстов по истории психоанализа и его связей с философией, но разработкой темы уже не занимался.

Как я уже говорил выше, на какое-то время в круг моих занятий вошла социология Норберта Элиаса. Я начал знакомство с его трудами случайно. Когда я был в Германии, Элиас был ещё жив, а газета *Frankfurter Allgemeine* опубликовала отдельные главы его новой небольшой книги о Моцарте (так сказать, биография глазами социолога). Я прочитал его основную работу «О процессе цивилизации», затем «Придворное общество», затем прочие. Съездил в Голландию, где немало учеников и последователей Элиаса. Странным для меня итогом этой поездки явилось через пару лет приглашение меня в Амстердам в качестве члена комиссии, вручающей королевскую премию крупным учёным. В тот год лауреатом оказался американский историк (не помню, как его звали), взгляды которого близки Элиасу. На торжественном приёме я почти час беседовал с королевой Беатрикс и её супругом (кажется, из немецких князей Лихтенштейн) — их очень интересовало, что творится в России.

Интерес к социологии Элиаса в начале девяностых отчасти был связан и с продолжавшейся работой над психоаналитической проблематикой: его теория цивилизации восходит к дискуссиям в салоне Марианны Вебер в 1920-е гг., но явным образом связана и с психоанализом. Переведя главную работу Элиаса на русский и высказав всё существенное в большом предисловии, я этим и ограничился.

Основной темой моих трудов со второй половины 1990-х гг. стала «консервативная революция» в Веймарской республике. В самом начале 2000-х я год провёл в берлинском *Wissenschaftskolleg*, где созданы идеальные условия для работы. Книги, журналы той эпохи, вторичная литература, общение с учёными высокого уровня.

Написал немало статей о «консервативной революции», готовил книгу, но оставил её. Поначалу из-за своего рода перфекционизма: некоторые аспекты требовали более тщательной проработки — я всё же не историк той богатой (и трагичной по результатам) эпохи — нужно было продолжать чтение. А потом я перешёл в Высшую школу экономики в качестве декана факультета философии, расширившегося с открытием отделений культурологии и востоковедения, а административная работа большим проектам явно препятствует. Сейчас, после внутриуниверситетской реформы, я оказался во главе большого факультета гуманитарных наук. Опубликованные недавно статьи об «идеях 1914 года» и главы в большой коллективной монографии о Первой мировой войне являются продолжением начатой работы: «консервативная революция», как и сама Веймарская республика, была следствием этой войны.

Другой темой моих исследований стали уже упомянутые А. Койре и А. Кожев. Сотрудничество с такими друзьями, как Андрей Полетаев и Ирина Савельева, участие в их проектах, привлекло более пристальное внимание к неко-

торым сюжетам, которые ранее хотя и вызывали мой интерес, но не артикулировались в моих текстах. Скажем, несколько моих статей можно отнести к тому, что немцы называют Historik, т.е. исследованиям на стыке эпистемологии, философии истории и историографии.

Сейчас я пытаюсь дописать книгу об Александре Кожеве. Мешают возросшие административные нагрузки. После десяти лет деканства я собирался этот пост покинуть и уже договорился о том, чтобы какое-то время поработать в Германии. Однако затем в силу ряда причин согласился возглавить большой гуманитарный факультет. The show must go on...

Иными словами, темы, которыми я занимаюсь, многообразны, к одному знаменателю не сводятся. Объединяет их разве что время и место действия: Европа конца XIX – начала XX веков. Большинство трудов тех мыслителей, которыми мне доводилось заниматься, издано в 1920–30-е гг. В каком-то смысле, с них начинается наша современность – водоразделом является Первая мировая война. Революции и контрреволюции, новые идеологические доктрины, трансформация науки (квантовая механика и др.), обновление философии и теологии... Список может быть долгим. Мы являемся наследниками этого не только политического, но и культурного переворота. Эта эпоха меня интересовала на протяжении всей моей научной работы. Конечно, как историк философии, я обращался и к куда более далёкому прошлому: лекции доводилось читать не только об античной мысли, но также о веданте и конфуцианстве. Но практически всё мною написанное имеет своим предметом начальный этап нашей современности.

Да, безусловно, the show must go on... Вы не пытались встретиться с Норбертом Элиасом, или он уже был слишком преклонных лет?

Поскольку Вы работаете над книгой о Кожеве, раздумываете о Койре, писали о большом числе выдающихся философов, социологов, психоаналитиков, хотел бы затронуть тему объективности в освещении жизни подобного рода учёных (и не только). В этой теме масса аспектов: что значит в данном случае объективность? Достижима ли она? Стремимся ли мы к ней? И надо ли к ней стремиться? Я написал небольшую книгу о Джордже Гэллапе, меньшую – о Борисе Грушине, более десятка статей об американских полстерах и выдающихся копирайтерах (к примеру, о Дэвиде Огилви), о наших коллегах: Андрее Алексееве, Геннадии Батыгине, Татьяне Заславской. Когда мы пишем о близких нам творческих людях (не имеет значения, в какое время они жили и знали ли мы их лично), мы общаемся с ними. Общение – всегда персонализированное; я в большой степени ориентируюсь на принцип пристрастности. У меня по этому поводу много соображений, но ограничусь словами Пушкина: нет правды без любви. Он писал так в критической заметке о книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Что скажете?

На то время я только начинал знакомство с трудами Элиаса, да и не смог бы я тогда его повидать. Он жил в Голландии, а у меня был советский служебный загранпаспорт, каковой выдавали тогда научным стажёрам. Чтобы куда-нибудь поехать, нужно было отправляться в посольство в Бонне, там обосновывать необходимость поездки перед людьми, которые старались, скорее, помешать. В Голландию к ученикам Элиаса я поехал уже в 1996 году, после смерти их учителя.

Вопрос об объективности знания касается всех наук, но для историков он имеет особое значение, поскольку историк имеет дело с дошедшими свидетельствами, а не с «героями», не с очевидцами происходившего. Конечно, Фукидид описывал войну, в которой сам участвовал; существует «история настоящего», собирающая свидетельства о недавнем прошлом. Тем не менее, работа историка в основном связана с ушедшим, с тем, что было и навсегда ушло. Стремление видеть в людях прошлых эпох соучастников наших проектов ведёт к наихудшим искажениям мыслей и дел людей иных времён. В случае истории философии такие переделки прошлого чаще всего связаны с идеологическими запросами. Демокрит или Джордано Бруно делаются «борцами за светлое будущее», учения Фомы Аквинского или Маркса объявляются «вечными истинами» и т. д.

Наша субъективность присутствует в любом знании, мы не свободны от ценностей и горизонта знаний нашей эпохи. Понимание философской и научной мысли Парацельса или Паскаля означает погружение в их эпоху, уяснение предпосылок научного знания той поры (весьма отличных от наших), сопоставление с предшественниками и современниками и т. п. Для начала требуется «взять в скобки» всю современную мифологию по поводу прошлого, многообразные предрассудки нашего времени. Студентам мне приходилось указывать на то, что мы судим об античном искусстве по дошедшим до нас беломраморным статуям, а они были довольно вульгарно раскрашенными; любимым развлечением (причём, не только черни) в средние века и в Новое время были казни преступников, «костры ведьм» и т. п. Романтические теории эмпатии («вчувствования») хороши для романов Вальтера Скотта или нынешней «альтернативной истории», но никак не для историков. Объективность в историческом знании, в принципе, не отличается от объективности в любой научной теории. Выдвигается гипотеза, которая лучше прежних объясняет социальную структуру аккадского города, ментальность жителей деревни в средневековом Провансе и т. п.; эта гипотеза обосновывается фактами — документами, археологическими данными, фольклором.

Для историка философии или физики ситуация упрощается за счёт того, что мы имеем дело с узкой областью теоретического мышления — нам нужно понимать не людей прошлого во всём богатстве их переживаний и деяний, но в первую очередь дошедшие до нас тексты. Понять «Сумму против язычников» в чём-то сложнее, а в чём-то проще, нежели психологию подростков, отправляющихся в крестовый поход («Крестовый поход детей»).

Вы имеете дело с недавним прошлым, а потому можете быть пристрастным. Недавнее прошлое ещё живо, мы сами являемся его свидетелями. Пока не умер последний участник Второй мировой войны, она ещё не стала историческим прошлым в полном смысле слова, поскольку он может сказать: «Нет, это было не так». Мне понравилась типология Э. Хобсбаума, который заметил, что между историческим прошлым и современностью находится «серая зона»: участников Февральской революции 1917 года или Великого похода китайских коммунистов в 1930-е гг. уже нет в живых, но есть те, кто с ними общался, для кого это прошлое сохранило личную значимость. Наша идентичность сформирована тем, что совершали и что думали наши предки в сравнительно недавнем прошлом. Есть события, создавшие нынешние нации в их современном виде, а потому они тоже никак не уходят в прошлое. О революции 1789 года французы спорят донныне,

тогда как гражданская война католиков и протестантов 16 столетия целиком отошла в прошлое. В США вы доныне можете услышать: “to arms in the Dixie” или “I’m Johnny Rebel” – в южных штатах память до сих пор препятствует превращению довольно давнего события в историческое.

Иначе говоря, историк работает с тем прошлым, которое в основном уже оторвалось от личной и коллективной памяти. Мне как специалисту по первой трети нашего столетия понятно, что предметы моего исследования находятся на стыке исторического прошлого и «серой зоны». Изучая тексты Хайдеггера и Лукача, мы обязаны учитывать то, что первый был членом НСДАП, а второй, будучи комиссаром в 1919 году, подписывал смертные приговоры «контрреволюционерам». Но если я сужу об онтологии Хайдеггера и Лукача, то мои политические пристрастия не должны мешать мне в интерпретации текстов. Так что, меня, скорее, можно зачислить в сторонники беспристрастности, изучения прошлого *sine ira et studio*. Что не мешает мне быть весьма пристрастным, когда речь идёт о сегодняшней политике, литературе, религии. Скажем так, я скверно отношусь к сегодняшним анархистам, но высоко ценю некоторые труды Годвина и Бакунина, видя в них оригинальных мыслителей другой эпохи.

Вопрос о любви в случае истории философии кажется мне не вполне корректным. Среди мыслителей прошлого были и нравственные, и безнравственные люди, бывали среди гениев и совсем мне несимпатичные лица. Тот же Зигмунд Фрейд мне никогда не был симпатичен, равно как немецкий националист Вернер Зомбарт. Это не мешало мне изучать их труды. Одним из почитаемых мною немецких философов является Арнольд Гелен, который был убеждённым нацистом, да и по своим человеческим качествам никак мне не нравится. Альбер Камю вызывает у меня добрые чувства, а Жан-Поль Сартр как человек ничего, кроме презрительной усмешки. Но я не могу не признать того, что философия Сартра куда лучше разработана, а «Бытие и ничто» является важным произведением. Вряд ли мне хотелось бы иметь соседа или коллегу с ментальностью Шопенгауэра (Фихте, Кьеркегора, Ницше, Маркса...), но это не отменяет их роли в истории мысли. Не уверен, что в отношении философов давнего прошлого, о которых до нас дошло немного сведений, критерий «любви» вообще может применяться. Как мне «любить» главу стоиков Хрисиппа или создателя неоплатонизма Плотина, если о них самих дошли в лучшем случае анекдоты Диогена Лаэртца или жизнеописания, составленные их учениками? Если же «любовью» именовать близость моим собственным убеждениям, то и здесь слова «нет правды без любви» не вполне точны. Николай Кузанский и Карл Ясперс мне куда ближе, чем Александр Кожев, но это мне ничуть не мешает в изучении трудов последнего.

Можно было бы сказать и так: у историка философии должна присутствовать любовь как к мудрости, так и к философии прошлых эпох. Без этого нет смысла этим делом заниматься. Историка радует не единообразие, а многообразие людей и идей. Он видит споры, творчество незаурядных индивидов, странствует вместе с ними по эпохам. Это многообразие стоит любви. «В доме Отца Моего обителей много». В этом смысле, пожалуй, «нет правды без любви».

Вы написали, что я имею дело с «недавним прошлым», а потому могу быть пристрастным. Спасибо, Алексей, в моей ситуации это неплохой спасательный круг. Мне кажется, я имею дело даже не с недавним прошлым, а с супернастоящим,

это — своего рода минное поле; под ногами уже взрывалось, но (пока) не убило. Хотя советской / российской социологии немногим более полувека, я заметил, что во многих случаях, мне приходится иметь дело с мифами. Четыре десятилетия назад историк и философ физики Б.Г. Кузнецов заметил: «История науки и философии присваивает себе право, в котором люди отказывают богам: она меняет прошлое». Я постоянно думаю о том, как описывать прошлое, не создавая новых мифов... Вас посещают подобные размышления?

Да, занимаясь недавним прошлым, мы рискуем попасть на «минное поле»; имеются темы, которые замалчиваются, поскольку можно задеть то, что Веблен именовал *vested interests*, идеологические мифы, чувствительность коллег по ремеслу. Так как я немало занимался немецкой и французской интеллектуальной историей, то хорошо представляю себе круг запретов и умолчаний в этих странах. Разумеется, в России эта область тоже обширна, просто у нас ещё не выработалась собственная «политкорректность».

Приведённое суждение Б. Г. Кузнецова кажется мне преувеличением, опирающимся на отождествление нашего нарратива и реальности. В известном смысле галактики и нейтрино даны нам ровно настолько, насколько они нам известны. Звёзды и незримые частицы существуют в учебниках по астрономии и физике. Как говорил кто-то из неокантианцев, наглядны не звёзды, а мерцающие точки, тогда как о природе созвездий мы знаем из утверждений в статьях и монографиях.

То же самое можно сказать и о прошлом, включая и прошлое науки. Творя новую интерпретацию, мы создаем ту историю, которая может войти в учебники и сделаться само собой разумеющейся для миллионов. Только через какое-то время её сменит другая трактовка прошлого, но отменить его мы можем ничуть не больше, чем звёзды или нейтрино. Я припоминаю разговор с одним американским философом, очень хорошо образованным и умным. Он увлечённо убеждал меня в верности той разновидности релятивистской софистики, которую в то время проповедовали Рорти со товарищи. Я позволил себе задать ему всего два вопроса: следует ли из всего им сказанного, что есть полное право утверждать на манер «ревизионистов», что в Освенциме и в Дахау никого не уничтожали? Решится ли он публично признать, что теория, согласно которой рабовладение было благодетельным для американских негров, не менее допустима, чем ей противоположная? Надо было видеть лицо этого политкорректного джентльмена.

Мне хорошо знакомы аргументы тех, кто видит в историке создателя будущего, «пророка, оглядывающегося назад», а в истолковании — экзистенциальный выбор («проект», как говорят не только сегодняшние менеджеры от науки, но и Хайдеггер). Всё это любопытно, далеко не ново (Протагор жил давно) и уничтожает само научное знание. Тем историкам, которые начинают утверждать нечто подобное, я предложил бы практическое следствие: зачем налогоплательщику оплачивать университетских сочинителей, которые пишут фэнтези на исторические темы, только делают это куда хуже писателей, да ещё и за счет государственного бюджета?

Кажется, я уже писал выше, что склонен к скептицизму. Но его не следует смешивать с релятивизмом, в особенности с «наглым релятивизмом», как назвал Гуссерль позицию *anything goes*.

Конечно, имеется необозримое количество исторических мифов. Любой грамотный историк знает, что на Чудском озере происходило не «Ледовое побоище», а незначительная стычка, каковых между новгородцами и ливонскими рыцарями было много (у псковичей ещё больше). Кажется, погибло там 7 рыцарей и 30 пехотинцев с ливонской стороны. Но в учебниках писали и будут писать иначе: есть традиция, признанный святым князь, известный фильм и т.д. Таких мифов полно и в других странах. Никто не станет разубеждать в американской школе учащихся, которые должны верить, что гражданская война началась из-за рабства негров, тогда как в действительности у неё были совсем иные причины.

В истории философии и в истории науки подобной мифологии меньше, поскольку наши труды малопригодны для идеологического использования. Советская всепроникающая политизация истории, конечно, основательно задела историю мысли, но всё же идеологическая подмена была исключением. Сегодня мы сталкиваемся разве что с тем, что «сытые» гранты получают малограмотные лица, готовые обслуживать и прислуживать. Но если отказаться от писания на такие «заманчивые» темы, как «микрофизика власти Витгенштейна» или «гендерная история средневековой философии» (не шутка, обе темы получали западные гранты в России лет 15 назад), то потеряешь только деньги. Всех денег не заработаешь, да и проституция не столь уж привлекательное ремесло.

При этом я вовсе не отрицаю роли идеологии в жизни государств и наций. В секуляризованном обществе они служат мобилизации людей, организации избирателей, обратной связи между элитой и массами. Мне самому доводилось писать идеологические тексты. Нужно только не смешивать друг с другом разные сферы деятельности. При всей моей приверженности консерватизму, об истории консервативных учений я пишу не менее критично, чем об истории либеральных или социалистических. Есть кабинет учёного, есть университетская кафедра — их не стоит путать с выступлениями на митингах или с писанием партийной программы.

В истории науки, конечно, есть место мифам, служащим популяризации научного знания, распространению этой (а не иной) доктрины. Я сам столкнулся с подобной мифологизацией фигуры Фрейда в истории психоанализа и довольно подробно об этом писал. В истории философии подобных мифов тоже немало. Достаточно вспомнить о таких фигурах, как Сигер Брабантский, Джорджано Бруно, Спиноза — с XIX века тянется ряд нелепейших модернизаций их учений.

Не так уж сложно «брать в скобки» расхожие мнения, «шум и ярость» передовиц и телевизионных шоу. Значительно сложнее постоянно держать критическую дистанцию, проверять и перепроверять свидетельства, истолковывать тёмные тексты, а самое главное — учитывать несхожесть людей прошлого с нами, наличие у них иного «жизненного мира». Для меня это просто повседневная работа, которая требует определённой аскезы — не в смысле телесного воздержания, но дисциплины ума.

Вы изучаете жизнь и творчество Александра Койре и Александра Кожева — французских философов русского происхождения. В какой мере эти исследования относятся к истории русской философской мысли?

В незначительной мере. Койре по-русски написал в эмиграции немного, но он является автором двух книг о русской философии первой половины XIX века (одну из которых я перевёл). Классиком истории науки он стал даже не во Франции, а в США, где лет десять проработал после войны. Кожев написал на родном языке куда больше, упомянутая мною рукопись 1940—41 гг. представляет собой его первую попытку целостно изложить своё учение. Кроме того, в случае Жева куда больше скрытых перекличек с русскими последователями Гегеля и Ницше.

Важно не происхождение само по себе, но сложносоставное единство (язык, культура, проблематика и т. п.). Был ли Питирим Сорокин русским или американским социологом? Американцы или немцы Лео Штраус и Герберт Маркузе? Вряд ли кто-то вспомнит, что Сорокин был не русским, а коми, тогда как Штраус и Маркузе были евреями. Как мне кажется, основным (хотя и не единственным) показателем является язык, на котором пишет (и тем самым мыслит) учёный, адресуясь к определённому читателю. Хотя в естественных, да и в социальных науках сегодня доминирует английский (как в прошлом латынь), в философии ситуация иная, поскольку философское творчество сродни художественному. По крайней мере, та философия, которая мне интересна. Мы думаем на родном языке, эмиграция иногда заставляла мыслителей переходить на другие наречия. Бывают, конечно, промежуточные и сложные случаи. У Лейбница важнейшие философские труды написаны по-французски; Чаадаев в письме (кажется, Бенкендорфу) признавался, что по-русски писать сложные тексты не способен. В некоторые эпохи господствует свой язык «республики письмен» — латынь, французский, сегодня это английский. Вряд ли на него перейдут философы континентальной Европы. Да и не только Европы — испаноязычная аудитория огромна, аргентинского философа читают в Испании, испанского — в Чили.

Будь я представителем аналитической философии, то перешёл бы на английский. Хотя начиналась аналитическая философия в Вене, Берлине, Праге и даже Львове, только помнят об этом сегодня немногие. Но к этой славной деноминации с такими святыми, как Витгенштейн и Карнап, я не отношусь, а потому предпочитаю обращаться к более узкому кругу потенциальных читателей.

Изучают ли Ваши сотрудники, аспиранты, дипломники какие-либо аспекты послевоенной (постхрущёвской) советской / российской социологии?

Думаю, что у некоторых преподавателей интерес к этой тематике может присутствовать (Виталий Куренной, Александр Филиппов, Александр Малинкин), но я не уверен в том, что они заняты именно историей советской социологии. А среди аспирантов и магистров этим никто не занимается. Пришло новое поколение, для которого это уже древность. Как говорилось в каком-то романе: *The past is a foreign country: they do things differently there*. Социологию сегодня учат с тем, чтобы проводить маркетинговые исследования. А тем, кто занимается историей русской мысли, Владимир Соловьёв, Константин Леонтьев или Николай Бердяев интересны как философы, тогда как история социологии второй половины XX века вообще бедна с точки зрения историка философии. Отцы-основоположники обращались к философии, тот же Питирим Сорокин не исключение. Социология как нормальная наука в философской рефлексии

чаще всего не нуждается. Поэтому есть смысл задать этот вопрос социологам. Насколько я помню, вместе с Батыгиным какие-то тексты писала по этой теме Инна Девятко, ныне профессор на факультете социальных наук НИУ ВШЭ.

Замечено, что в физике, биологии, технических науках в ответ на вызовы времени формируются первые поколения учёных, которые затем сменяют друг друга. Другими словами, науку развивают поколения, а прорывы делаются единицами. Так было в ядерной физике, компьютерных технологиях, генетике, освоении космоса... Замечаете ли Вы нечто аналогичное в философских науках?

В случае философии роль гениальных одиночек, пожалуй, ещё больше, чем в современных науках; древность не беру, поскольку тогда философия с наукой зачастую совпадала. Демократии (one man, one vote) нет и в науках, но в них всё большее значение приобретает специализация, они делаются фабриками знаний, зависимыми от немалых финансовых вложений. Такие инвестиции в случае философии лишены смысла.

Имеется специализация и в философских дисциплинах: логика отличается от этики или эстетики. Но в основе «прорывов», о которых вы говорите, всегда можно обнаружить некую интуицию, целостное схватывание «духа времени». Ведь философия соотносится не только с научным знанием, но также с миром религии, искусства, политики. Да и передаются навыки философствования иначе, чем умение вести наблюдения или проводить эксперименты. На фоне сегодняшнего «фабричного производства» в науках, философы выглядят «ремесленниками». Философия остаётся делом немногих, да и не слишком многих привлекает. Как говорил восточный мудрец: «Трудно найти хорошего учителя; хорошего ученика найти ещё труднее». Так было, так, наверное, и будет.

Что же до вашего вопроса о поколениях, то здесь ситуация чрезвычайно любопытна, а отчасти и загадочна. Талантливых людей рождается в разные времена примерно один и тот же процент, но бывают долгие периоды упадка философии (да и всей культуры), после которых вдруг приходит поколение, блестящее талантами. Они словно подталкивают друг друга, возникает некий синергетический эффект. Об этом довольно любопытные размышления можно обнаружить у Ортеги («доктрина поколений»): в Испании словосочетание «поколение 98 года» имеет примерно такое же значение, как «Серебряный век» в России. Независимо от верности (или неверности) теорий Ортеги, подобные «прорывные» поколения в истории философии известны. Если использовать выражение из истории немецкой литературы — это периоды «бури и натиска».

Последний такой период в европейской философии пришёлся как раз на первые десятилетия XX века. Все основные идеи сегодняшней философии были выдвинуты в этот период. Сейчас мы переживаем период эклектики и софистики. Это не обязательно плохо — во времена эклектики в Александрии Птолемея возникают специализированные науки, да и сама философия получает значительно более широкое хождение, чем в прежних небольших городах-полисах. В таком виде она приходит в Рим (Цицерон был именно эклектиком). Только вот оригинальности досократиков или Платона с Аристотелем в такой философии не найти. Но через ряд веков возникает великий синтез Плотина, оплодотворивший не только языческую, но и христианскую мысль. А время было не самое благоприятное: «солдатские императоры», начавшееся отступление империи,

упадок прежних добродетелей и т.п. Великие для философии эпохи редко бывают счастливыми временами для самих философов. Настоящая философия появляется в России во времена Николая I, но именно при нём министр просвещения, заявив, воспрещая преподавание философии в университете: «Польза от философии не доказана, а вред возможен».

Мы сколько угодно можем строить догадки относительно творчества философов как ответа на вызовы времени, но вряд ли можем с уверенностью сказать, почему в иные эпохи незаурядные умы обращаются именно к философской рефлексии, а не к математике, живописи, монастырскому уединению или политической карьере.

Вы себя больше видите в качестве аналитика, исследователя или преподавателя?

Мне доводилось писать аналитические тексты, включая и тексты «для служебного пользования»; в этом качестве мне предлагали работать в Администрации Президента. Я прекрасно понимал, какие это открывает карьерные перспективы, но уже в начале правления первого президента России испытывал к нему и его окружению не самые тёплые чувства, а потому отказался. Так что аналитиком я бывал по случаю, а вот исследовательская деятельность меня привлекает больше всего. Если построить некую иерархию сфер моей деятельности по тому, что мне нравится, то на вершине окажется именно исследование («удовлетворение своего любопытства за государственный счёт», как говорилось в давние годы). Затем идёт преподавание, а за ним следует переводческая и издательская деятельность.

В самом низу находится административная работа. Изображать из себя начальника мне никогда не нравилось, но управлять командой единомышленников я умею. Куда хуже даётся писание бесконечных бумаг, трата времени на заседаниях и т.п. прелести бюрократии. Умом я понимаю, что в современном мире без этой работы не обойтись, но предпочёл бы, чтобы её делал кто-нибудь помимо меня. Но в последние годы мне приходится заниматься по большей части именно администрированием. Научную работу я, конечно, не бросил, лекции продолжаю читать, а вот перевожу очень мало. Последнюю книгу я перевёл только потому, что несколько месяцев страдал от бессонницы: если уж не спится, то почему бы не перевести Рудольфа Бультмана? Так что на некоторых заседаниях я мечтаю о времени, когда начну готовить спецкурс о французских писателях и философах XVII века (Ларошфуко, Паскаль, Лабрюйер), а потом возвращаюсь в реальность, поскольку речь заходит о ставках, регламентах, финансах, и это затрагивает мой факультет. Жизнь согласно «принципу реальности», а не «принципу удовольствия»...